Изъ путевыхъ замѣтокъ бѣженца
Кн. Е. Н. Трубецкого

АРХИВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

издаваемый
И. В. ГЕССЕНОМЪ

XVIII

БЕРЛИНЪ 1926

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Записки Беженца» были написаны моим покойным отцом князем Евгением Николаевичем Трубецким, летом 1919 года, за несколько месяцев до его кончины.

Они представляют из себя вторую совершенно самостоятельную часть «записок о втором смутном времени», в которых мой отец хотел описать то, что ему пришлось лично наблюдать со времени «Февральской революции» 1917 года.

Первая часть записок, охватывавшая время от революции до бегства автора из Москвы осенью 1918 года, пропала во время гражданской войны; вторая уцелевшая часть не была обработана моим отцом для печати, но издается ныне в том виде, как он ее оставил, лишь с некоторыми самими незначительными пропусками.

Эта часть записок была написана во время самых ярких успехов Добровольческой армии. Казалось, падение большевиков и освобождение России – дело почти совершившееся. Это оптимистическое настроение всецело охватило моего отца и этим объясняются некоторые ошибки в перспективе и оценке явлений того времени. Сами эти ошибки являются ярким изображением господствовавших тогда настроений и отнюдь не уменьшают значения конечных выводов.

- Кн. С. Трубецкой.
  - I. Переезд на Украйну.
  - II. На Украйне
  - III. Политики, политика и сверхполитическое.
  - IV. Переезд в Одессу.
  - V. Пребывание в Одессе.
  - VI. Французы в Одессе.
  - VII. Русская ориентация.
  - VIII. Добровольческая армия.
  - IX. Политическая атмосфера и политика добровольческой армии.
  - Заключение.

Кн. С. Трубецкой.
Из путевых заметок беженца.

I. Переезд на Украйну.

11-го сентября (ст. ст.) 1918 года я бежал из Москвы на Украйну, так как дальнейшее мое пребывание в Совдепии представлялось не безопасным. С тех пор я провел время в непрерывных скитаниях. В начале декабря я вынужден был бежать из Киева, осажденного войсками Петлюры. Потом в марте 1919 года я должен был окончательно покинуть Одессу вследствие нашествия большевиков. Я наблюдал и Украйну, и Одессу, и юго-восток России, в особенности Екатеринодар.

Теперь пользуюсь свободным временем, чтобы привести в порядок мои впечатления и попытаться подвести итог важнейшему из того, чему свидетелем я был.

Все было поучительно и интересно в моем путешествии на Украйну, начиная с вагона-теплушки, в котором я доехал от Москвы до Брянска. Переезд был не из легких, так как теплушка была переполнена. Ноги и руки должны были замереть в том положении, в какое я попал в Москве; двигаться было почти не возможно. Ночью я почувствовал тяжесть, давившую мне грудь; я попытался освободиться, но ворчливый женский голос запротестовал: «какой вы непоседа». Это девица спала у меня на груди и извинялась тем, что «приняла меня за чемодан». А в то же время ко мне на плечо периодически падала голова спящего юноши. К тому же в вагоне у меня был припадок инфлуэнцы, длившийся несколько часов с порядочным подъемом температуры. Все это было невесело, но неприятности дороги с избытком окупились. Прежде всего этой ценой была достигнута полная безопасность.

Как я узнал впоследствии, в нашем поезде в классных вагонах производились обыски. В одном купэ II класса большевики конфисковали тридцать с лишним тысяч рублей. Меня могли бы арестовать. Теплушку же, как учреждение «демократическое», оставили в покое, даже билетов не спрашивали. Думаю, впрочем, что даже и при желании это было бы неосуществимо в виду невозможности протискаться среди этой невероятной тесноты. Для контроля просто не оставалось места.

Другое вознаграждение за неудобство – те разговоры, которые мне пришлось слышать. В теплушке упраздняется различие между «буржуем» и «демократом». Там всякий признается простонародьем за своего. Разговоры ведутся без всякого стеснения. Поэтому для ознакомления с народным настроением путешествия в теплушке чрезвычайно ценны.

От Москвы до Брянска разговоры велись преимущественно на

политические темы. Ругали на все лады большевиков. И что всего замечательнее, у них не оказалось ни одного защитника. Был тут и матрос, пользовавшийся большим успехом и очаровавший всех девиц. Он присоединился к обличителям большевиков. Его стали укорять: «вот, вы, матросы, этих мерзавцев посадили». Но он не смутился: «ну, что ж – мы их посадили, мы же теперь должны их скинуть. Мы думали – они путевые, а оказались жиды, да притом негодяи».

Впоследствии на Украйне мне довелось слышать иные разговоры. Там иллюзии не были изжиты и народ ждал прихода большевиков как манны небесной. С разных сторон мне приходилось слышать от путешествующих о большевицком настроении украйнской теплушки. Парадоксальное явление, которое прежде всего бросается в глаза, заключается в том, что обеим воюющим сторонам в течение известного периода времени приходилось действовать среди атмосферы им враждебной. Большевики окружены народной ненавистью в изжившей большевизм Совдепии, добровольцам же долго приходилось действовать в местностях, где большевикам сочувствовали значительные группы населения. Так было в 1918 году на Украйне и в Одесском районе.

Переночевав в Брянске на постоялом дворе в коечном номере, где кроме меня и моего спутника помещалось четверо крестьян, я двинулся дальше в пограничный пункт Унечу, откуда мне предстояло совершить переезд на лошадях в украйнский пограничный город Клинцы. Тут я сразу попал в атмосферу спекуляции на беженцах.

Все местечко промышляло перевозом беженцев через границу. Меня поразил тот факт, что промысел ведется совершенно открыто. На станции железной дороги к пассажирам обращались крестьяне возчики с предложением доставить в Клинцы. Разговоры об этом велись громко – большевики видимо не наблюдали. Я пошел отыскивать в Унече того еврея, который был мне рекомендован, как главный организатор переездов. Но его в Унече не было: по-видимому и он был вынужден бежать на Украйну, – за то оказалось, что перевозом промышляют другие обыватели, – евреи и русские; было много частных домов, превратившихся в постоялые дворы. Хозяева брали с постояльцев большие цены и рекомендовали возчиков, знавших как провезти мимо большевиков. Мне указывали одного специалиста, который устраивал переезды под охраной матросов, сопровождающих подводы.

Нас собралось около одного такого постоялого двора целых девять подвод под водительством проводника, знавшего, где в

данную минуту стоят большевицкие сторожевые посты и как их объехать. Для крестьян этот промысел необыкновенно выгодный. За один переезд в 40 верст они зарабатывают по 1000 рублей на подводу. В нашу подводу возчик набрал четверых пассажиров, взявши по 250 рублей с каждого.

Большевиков мы действительно не встретили и обыскам не подвергались. Это объясняется, как мне кажется, не только познаниями нашего главного проводника, но и общим сочувствием населения. Думаю, впрочем, что сочувствие относилось не столько к беженцам, сколько к выгодному промыслу своих односельчан-возчиков. Всякий встречный крестьянин давал им указания, – в какой деревне есть и в какой нет солдат-большевиков. Расценка этих показаний, впрочем, была неодинакова. Когда к нашему обозу пристал крестьянин, усердно убеждавший нас съехать с поля и углубиться в лес, чтобы скрыться от большевицких взоров, наши возчики его отогнали: по их словам он хотел «навести нас на комара», т. е. просто на просто на шайку разбойников, которые промышляли беженцами несколько иначе. По словам моего возчика в данную минуту препятствием к промыслу служили неоконченные полевые работы: «когда работы окончатся, говорил он, мы по дорогам свою стражу поставим, которая будет нас извещать о каждом движении большевиков».

Когда встречный мужик возвестил, что «большевиков всех проехали, теперь герман пошел» – все лица вдруг просияли, так как путешествие было далеко не безопасно. Нам казалось, что большевикам трудно не заметить нашего большого поезда из девяти подвод, скрипевшего шагом и нагруженного богатою кладью, так как с нами ехало именитое купеческое семейство из Москвы.

К тому же один из попутчиков, – еврей, дрожавший от страха, утешал нас рассказами о том, как большевики в Унече его сорокалетнего, заарестовали и заставили рыть окопы, да о том, как к нему вторгались в дом грабители в масках, которые истязали его и его жену.

В стране, занятой «германом», было тоже чрезвычайно интересно; тут мне пришлось наблюдать первые симптомы нравственного разложения – передававшегося от нас германской армии.

Дело было к вечеру. – «Когда увидите огонек в лесу – предупреждал нас встречный мужик, – вы на него не езжайте. Это германская сторожка будет. Там вас обыщут, да задержат; лучше, не доезжая до сторожки, сверните влево».

Так мы и собирались поступить. Увидав сторожку, мы

попытались свернуть влево, но как раз у перекрестка были остановлены криками «Halt» (Стой) немецкого часового. Ехавшие в передней телеге хотели откупиться семьюдесятью пятью рублями, но немец запротестовал. «Сосчитайте сами, – говорил он, – вас девять подвод, по 15 рублей с каждой – стало быть с вас следует ровно сто тридцать пять рублей». Очевидно, это была установленная такса за право проезда; получив ее, немец любезно указал нам путь влево, в объезд сторожки, которую необходимо миновать, чтобы она не была обязана нас обыскивать. Для меня несомненно, что в этом промысле участвовал весь караул, в том числе и господа офицеры. Мы свернули влево настолько близко от сторожки, что там, конечно, не могли не слышать отчаянного скрипа наших немазаных колес.

Крестьяне-возчики наблюдали эту сцену с довольным выражением сочувствующих знатоков дела. «Надыть покормить германа», говорил один, а степенный мужик, с окладистой бородой, тут же наставительно заметил: «вы, барин, не смотрите на германа, – Россея их образует, все выучатся воровать понемногу; вот как взятки уж берут». Впоследствии меня поражал широкий масштаб этого немецкого взяточничества. Все можно было купить у немцев за деньги: право стоять не в очередь в хвосте у немецкой комендатуры, пропуск в Киев, разрешение выехать внутрь Украйны без сидения в карантине, пропуск на железнодорожную платформу для посадки в неурочное время в вагон, даже Entlausungscertificat (Справка о проведенной дезинфекции против вшей). Стихийный характер приняло и воровство. В Киеве пришлось снять зелеными плоды из моего фруктового сада, потому что немцы лазили через забор и воровали, а в это время другие немцы стояли у забора и караулили. От русских офицеров, вернувшихся из Германии, я узнал, что низшее «русское образование», полученное немцами, дало свои плоды и там. В лучших берлинских гостиницах вывешены были объявления, которые приглашают жильцов во избежание краж не выставлять в коридорах для чистки платья и ботинок. Традиции «немецкой честности», как видно, основательно поколеблены.

В Клинцах мне пришлось провести целых три дня и бесплодных поисках разрешения на выезд в Киев без карантина, потому что я сначала не знал, как упрощенным способом добыть разрешение, а потом все-таки предпочел не прибегать к этому способу, который не всегда удается.

За эти три дня пришлось познакомиться со всеми прелестями беженской жизни. Приехав в Клинцы глубокой ночью, мы не могли найти помещения для ночлега, так как все постоялые

дворы были заняты, а стучаться в частные квартиры мы не решались. Пришлось ночевать в свежую сентябрьскую ночь на открытом воздухе. К счастью встретившийся с нами германский офицер принял в нас участие: он предложил мне и моему спутнику провести ночь на дворе немецкой комендатуры, куда мы въехали с подводой и расположились кое как на досках. Не смотря на шубу к утру стало так холодно, что спать я не мог и стал ходить по двору, где провел остаток ночи в разговорах с немецкими солдатами. Они расспрашивали про большевиков и поражали трезвостью своих суждений о Ленине, которого они считали «утопистом». О войне они говорили без всякого подъема, видимо уже утратив веру в победу. «В конце концов, Бог весть кто победит. Возможно, что все народы Европы работают в пользу желтых». Таков был общий смысл их суждений задолго до перемирия.

Когда на другой день я понял, что придется еще переночевать в Клинцах после бессонной ночи на дворе, я стал усиленно искать ночлега, но все поиски были безрезультатны. Тут выручила из беды счастливая случайность. Иду по улице, вижу маленький, чистенький и уютный домик, одноэтажный, в четыре окна по улице, а на заваленке сидит чья то добрая душа с мужем и кучей детей и голубыми глазами на меня смотрит. Я почуял, что тут найду приют и обратился к доброй душе за советом, как и где найти ночлег, рассказав о наших скитаниях. Муж «доброй души» стал отговариваться трудностью найти помещение. А она вдруг строго на него посмотрела: «ты не знаешь где найти комнату, а вот я знаю, пожалуйте к нам переночевать, милости просим».

Мы вошли в ослепительной чистоты «гостиную», которая была нам отведена. Передняя стена вся сплошь до потолка была увешана иконами с горящими перед ними лампадками. Это было жилище почтенного старообрядческого семейства. Все там дышало благолепием, честностью и добротою. Отношение к нам было в высшей степени сердечное и ласковое. Тогда как в других местах и нас, и других беженцев обдирали, как могли, здесь, наоборот, трудность при расчете заключалась в том, что хозяева, которые для нас стеснили себя как только могли, опасались взять с нас лишнее. После всего утомительного путешествия нескольких дней – эти лампадки, образа, возня кучи детей, да сочувствующие добрые лица производили удивительно успокоительное впечатление. Среди всеобщего разложения, мерзости воровства, эксплоатации и всяческой нечистоты, вдруг этот уголок старой России, сохранивший Божий мир и Божью благодать. И кажется, все будущее России зависит от того, много или мало в ней уцелело таких неведомых людям, но Богу

ведомых, уголков.

Это еще не был конец мытарствам. Решившись ехать без немецкого пропуска, я нанял подводу, которая доставила меня на следующую станцию, откуда пропуск уже не требовался. А там пришлось опять садиться в теплушку в единственный в сутки и совершенно переполненный поезд. Я не нашел места даже на площадке вагона. Пришлось висеть в дождь и ветер на нижней его ступеньке, как висели в революционные дни в московских трамваях. Только когда рукам стало холодно и я боялся, что от усталости могу не удержаться на ступеньках, верхние пассажиры сжалились и дали мне место на площадке.

Приехав вдребезги усталый в Гомель, я снова был возмущен эксплоатацией. Извозчик взял тридцать рублей только за то, чтобы «рекомендовать» номер, находившийся почти около самого вокзала. А за крошечный номер-клоповник, без белья, содержатель еврей взял пятьдесят рублей. Так обижали беженцев на каждом шагу. Попадаясь всегда в расставленные для них сети, словно мухи к паукам, многие из них в дороге тратили все, что имели, и доезжали до места буквально без гроша.

На другой день на пароходе из Гомеля в Киев я почувствовал сразу полный отдых. Мягкая скамья, где я мог разлечься, обильная мясная пища, которой я был лишен в Совдепии, масло, сахар вволю к чаю и многое другое, от чего я отвык в течение долгих месяцев, – все это вместе взятое заставило забыть про усталость путешествия.

II. На Украйне

От пребывания на Украйне у меня осталось впечатление тяжкого сна. Точно вся та действительность, которую я наблюдал, была не подлинною былью, а калейдоскопической сменою фантастических видений, которые быстро появлялись и столь же быстро улетучивались. Каких только народов я не видал в южной России: и немцев, и австрийцев, и румын, и французов, и греков. Все мелькали и исчезали как призраки. Призраками оказались и народы и все те государственные образования, которые они насаждали; призрачною была самая государственная жизнь и не только наша русская, а государственная жизнь всех народов Европы. Но не призрачным, реальным был тот хаос, который грозит похитить всякую государственность в мире, а с нею вместе и все то, что до селе называлось «цивилизацией». Не призрачно еще что то другое, высшее, *сверхгосударственное*, что предохраняет народы от полного и окончательного падения.

Первое, что меня поразило на Украйне, это неестественное кошмарное видение германской государственности в русской обстановке. Порою бывало испытываешь впечатление, словно Украйна стала уголком Германии. Всюду по дорогам немецкие столбы с надписями, с точным обозначением направлений и расстояний – путь на вокзал, в город, в комендатуру, «10 минут ходьбы» и т. п. А в городах, особенно в Киеве, – все полно германской культурой: и немецкий театр, и немецкий книжный магазин, и немецкий походный книжный магазин, и гастролирующие немецкие актеры, да музыканты. В концертных залах раздавались победные звуки музыки Вагнера. На улицах немецкий говор, множество немок приехавших с голодающей родины покушать хлеба да сахара во вновь завоеванных землях. Носились тревожные слухи о том, что отныне Крым станет немецким уголком, потому что он немцам раз навсегда понравился и они решили не отдавать его назад «русским варварам».

Казалось, все это здание немецкого владычества построено так прочно, как умеют только немцы. Впечатление прочности производили и войска, когда они маршировали: маршировка, смена караулов, вообще военная обрядность у немца носит характер священнодействия. Но вдруг какая то неуловимая черта вам выдавала, что все это не настоящее, неподлинное, что весь этот внушительный парад чем то глубоко извнутри подточен. Такое впечатление я испытывал, когда видел немецкое взяточничество и воровство. Тот русский мужик, который смеялся

в бороду, глядя на эти сценки, видимо, радовался, что серьезный и солидный немец вдруг обрусел и стал совсем на него похожим. Такое впечатление приходится испытывать в известной оперетке, когда на сцену являются Ахиллес, Аякс, Агамемнон, но вдруг торжественные жесты классических героев сбиваются на канкан.

Когда в дни немецкой революции канкан стал явным и открытым, радость русского мужика перешла в ликование. Я видел в Киеве бесподобную картинку. Двое немецких солдат курили на часах. А над ними сиял с улыбкой во весь рот бородач извозчик, бывший русский солдат: «господа, господа, – говорил он наставительным тоном, – как нехорошо, на часах курите; вот нас бывало в русской армии за это расстреливали». А немцы, словно понимавшие, тоже смеялись: пришла их очередь смеяться над порядком и дисциплиной. В те дни описанный Щедриным спор мальчика в штанах и мальчика без штанов разрешился в пользу последнего. И испарилась как дым немецкая «героическая мечта». Что осталось теперь от немецкого театра в Киеве, от немецкой «Feldbuchhandlung» (военный книжный магазин) и от немецкого Крыма. Германия в Россия была только призраком. Была трагическая минута, когда она казалась призраком даже у себя дома. «Поздравляю, вы возвращаетесь в отечество», сказал один знакомый киевлянин немецкому солдату после революции, а тот ответил: „es gibt ja kein Vaterland mehr, es bleibt nur Heimat“ (нет больше отечества, осталась только родина).

Были рядом с этими другие призраки русского происхождения, тоже обреченные на быстрое и еще более позорное исчезновение. Призраком из призраков была выдуманная ради немцев, изобретенная озлобленными русскими интеллигентами украйнская национальность, о которой сами немцы острили, что это народность без языка и без головы, и без рук. – Рядом с надписями немецкими были другие, еще более оскорблявшие глаз, написанные на каком то странном языке, непонятном местному малорусскому населению, – надписи на провинциальном галицком наречии, выдававшем себя за «украйнское». Русские люди тщетно силились говорить на этом языке, выдавая его за свой родной, бесплодно пытались перевести на этот захолустный крестьянский диалект сложные понятия современной государственной жизни. При министрах состояли особые чиновники, которые переводили по украйнски официальные протоколы их заседаний. И министры не могли проверить этой работы, потому что не понимали своего «родного языка»… Это не мешало Скоропадскому и Лизогубу говорить речи о том, как «двести лет стонала Украйна под русским игом». И эти речи свидетельствовали о той, увы, непризрачной

действительности, которая в угоду немцам создавала и поддерживала фикции, о характерном для русского человека отсутствии чувства собственного достоинства.

То была маленькая доморощенная мечта об украйнском гетманском величии, которая примазалась к великодержавной немецкой мечте о «срединной империи». Я видел яркие образные выражения этого провинциального отражения славы Вильгельма. В Киеве, на углу Крещатика и Лютеранской, была фотография, предательски обнажавшая тайные пружины украйнского политического мира. Приехав в Киев в конце сентября, я видел там в витрине разнообразные портреты гетмана. Один с пером в рук, поднятым над бумагой, с вдохновенным взглядом и морщиной на бессмысленном челе: это гетман в тиши своего кабинета «творит жизнь», пытаясь придать тусклому взору выражение государственной мысли. На другом портрете стоит сам Вильгельм, с руками в карманах, а перед ним, как робкий молодой солдат перед начальством, тянется, держа руки по швам, тот же великий гетман Украйны. А на третьем – опять гетман, сияющий и довольный между Гинденбургом и Людендорфом.

Прошло два месяца, немцы были разбиты. После заключения перемирия гетман объявил «русскую ориентацию» и попытался задобрить союзников. Тогда в витрине фотографии тоже произошла перемена ориентации. Исчезли и Вильгельм, и Гинденбург, и Людендорф, остался на время гетман наедине со своей государственной мыслью. А с ним рядом – Пуанкарэ, Фош и другие именитые французы с надписью: «добро пожаловать». На этом я и расстался с Киевом. Хотелось мне хоть одним глазком заглянуть в витрину фотографии, посмотреть, кем из совдепов заменен был гетман и какая мысль бродила на челе этих вновь пришедших.

Было в Киеве и другое яркое символическое изображение гетманского режима – гетманский дворец. Не всякому киевлянину выпадало на долю счастье к нему приближаться: для этого нужно было иметь пропуск от немецких властей; постоянный пропуск был снабжен фотографическом карточкой его обладателя. Снаружи дворец был окружен двумя цепями караульных. Целый прилегающий к нему квартал был отгорожен немецкими заставами, которые пропускали лишь по предъявлении пропуска. Далее самый дворец был окружен стражей из украйнских казаков и сечевиков. Публике позволялось ходить лишь по противоположной стороне улицы. Случайно мне удалось проникнуть в самую глубь дворца, в его жилые помещения, куда я ходил навещать одного знакомого – родственника гетмана. К величайшему моему удивлению я увидел там еще третью цепь. Я

проходил через длинный коридор со множеством дверей и перед каждой дверью стояли часовые с винтовками – украйнцы вперемежку с немцами. «Немного похоже на тюрьму», говорит мне мой знакомый, «но ничего – не смущайтесь». Сходство было действительно жуткое. Сочетание двух национальностей было подсказано недоверием: гетман видимо не полагался на своих и, безопасности ради, перемешал их с немцами. Он имел на это основания. Когда после франко-германского перемирия осовдепившиеся немцы отказались караулить гетманский дворец и на Киев стал двигаться Петлюра, среди украйнской стражи дворца возник заговор, – попытка убить гетмана. В конце концов все три железные цепи, окружавшие и ограждавшие верховного блюстителя Украйны, оказались призрачными. Как только немцы перестали ему покровительствовать, он упал как зрелый плод и Украйна подпала под другую, тоже фиктивную власть Петлюры, которая через несколько недель была вынуждена уступить свое место власти большевиков.

Интересна та общественная атмосфера, которая дала жизнь призрачному гетманскому владычеству. В кругах, наиболее сочувствующих гетманской власти, господствовало настроение, которое может быть точно охарактеризовано как интернационализм справа. Это были испуганные обыватели, которые чувствовали себя гораздо ближе к немецкому буржую, чем к русской демократии, и в сущности вдохновлялись лозунгом: «буржуи всех стран соединяйтесь». Я знаю лиц, которые откровенно в этом признавались. Их страх перед революцией был куда сильнее их русского национального чувства, а их украйнский «национализм» был лишь последствием упадка их русского патриотизма. Этот интернационализм, переряженный в синий жупан, был просто на просто ставкой на немца и ничем другим. Если бы дело происходило в другом месте, где немцам нужно было бы насаждать другие национальности, те же люди с такой же легкостью признали бы себя грузинами, финляндцами или еще чем-нибудь другим.

И в Киеве, и в Одессе среди высокопоставленных «бывших людей» я часто наблюдал эту гнетущую атмосферу буржуазной деморализации. Эти люди драпировались красивым и с виду соблазнительным лозунгом «борьба против большевиков во что бы то ни стало» и при этом подразумевали, что она должна вестись какою угодно ценою, если нужно, ценой единой России. Упадок духа, безграничное неверие в Россию было тут преобладающим настроением. Перепуганные и уставшие они решили, что Россия все равно погибла, каковы бы ни были усилия для ее восстановления. Остается стало быть спасать порядок,

жизнь и имущество. Если нужно, можно пожертвовать для этого Россией, ставшей «Совдепией». Отсюда сделка с немцами, спасавшими порядок в отдельных русских областях ценою расчленения России, да унизительный украйнский маскарад Скоропадского и Лизогуба.

Не малочисленные и бессильные «украйнцы» создали Украйну, а русские люди, цеплявшиеся за немцев, как утопающее за соломинку. Эти несчастные, малодушно отрекавшиеся от родины, не чувствовали глубины этого мирового провала, куда вслед за Россией должна была быть втянута Германия… Только после перемирия, непосредственно перед уходом германских войск обнаружилось все невероятное легкомыслие этой ставки на немцев. Когда началось наступление Петлюры на Киев, оказалось, что для его защиты гетман располагает двумя тысячами добровольцев при одном орудии. С величайшим трудом удалось раздобыть у немцев еще двенадцать орудий. А всего на украйнскую державу числилось не более 15.000 «сечевиков», которые к тому же перешли почти целиком на сторону Петлюры. Оно и не удивительно: маскарада ради Скоропадский и его министры подбирали в эти войска офицеров с «украйнской ориентацией»; в угоду немцам офицеры с «русской ориентацией» на службу не принимались. И вот в тот день, когда в угоду союзникам тот же Скоропадский был вынужден высказаться за «единую и неделимую Россию», он был жестоко наказан собственными ставленниками. Он был побежден ничтожеством Петлюры, потому что сам он оказался еще ничтожнее.

В минуту опасности обнаружилась беспредельная бездарность да нравственное убожество гетмана и его окружающих. Все спрашивали, где же его войска, что делало в течение стольких месяцев военное министерство. На заседании совета государственного объединения я слышал из уст министра внутренних дел И.А. Кистяковского, что военный министр был явный изменник, что вместо организации военных сил он занимался организацией бесчисленных штабов, да переводом командных возгласов с русского на украйнский язык.

Это преступное бездействие оправдывалось «препятствиями со стороны немцев». Но от одного из немногих порядочных членов украйнского правительства я слышал определенное заявление и по этому поводу: по его словам немцы действительно вставляли палки в колеса, но непреодолимых препятствий все таки не делали; армию было вполне можно и должно набрать и обучить за этот срок.

Как бы то ни было, армии в нужную минуту не оказалось. Защита Киева и гетмана была волею судеб вверена

немногочисленным добровольческим отрядам, по отношению к которым, к тому же, Скоропадский играл двусмысленную роль. Штаб генерала гр. Келлера имел в руках положительные доказательства, что через головы армии из гетманского дворца велись какие то тайные переговоры с Петлюрой. Была еще характерная для облика Скоропадского подробность. Защитники Киева терпели недостаток в автомобилях; а в это время на дворе гетманского дворца бездействовали три автомобиля, приготовленные на всякий случай на предмет возможного бегства гетмана и его семьи. В эти критические минуты его «государственная мысль» не поднималась выше забот о самосохранении.

Выросшая на почве буржуазной деморализации, гетманская власть сама стала источником деморализации. Когда гетман отстранил от командования войсками генерала графа Келлера только потому, что этот прямой и честный человек был ему неудобен, когда разнеслась в рядах весть о тайных переговорах Скоропадского с Петлюрой, добровольцы стали задаваться вопросом, для кого и для чего они жертвуют жизнью – ради России или ради гетмана, который, быть может, их предаст. Иные говорили: да, стоит ли сражаться при таких условиях. Было и начало заговора; среди офицеров была партия, которая требовала низвержения Скоропадского и передачи полноты власти графу Келлеру.

Возможно, что слухи были преувеличены. В чем заключались переговоры гетмана с Петлюрой, мы не знаем и обвинения в «предательстве» остаются недоказанными. Но какое доверие мог внушить человек, который сначала в угоду немцам заявлял, что Украйна двести лет стонала под «русским игом», а потом в угоду французам вздумал выступить в роли вождя в борьбе за единую Россию. Неудивительно, что дело окончилось катастрофою. Рухнул украйнский маскарад русской буржуазии: немцы, предавшие Киев Петлюре, наглядно показали, что значила ставка на немцев.

Это предательство положило начало новому маскараду. Раньше в синий жупан облекались «буржуи», теперь под именем «петлюровцев» и украйнцев явились в Киев русские большевики. Один знакомый мне публицист, застигнутый в Киеве вторжением банд Петлюры, был поражен чисто русским говором его солдат. На вопрос: «как это вас так скоро успели сформировать», – солдат отвечал: «да мы давно сформированы». «Где?». – «В Курске». – «А кто вас формировал?» – «Да, Троцкий».

Французский генеральный консул в Одессе – Энно, – знавший этот и многие другие аналогичные факты, показывал мне свой

рапорт Пишону, где прямо говорилось, что не петлюровцы голова, а большевики хвост и что ближайшее будущее принадлежит большевикам, а не Петлюре.

Так думал не один Энно. Украйнская маска петлюровского движения обманула только немногих ограниченных фанатиков украйнства и в том числе самого Петлюру.

Народные массы просто не понимали украйнской вывески движения и сочувствовали Петлюре только потому, что он обещал сломить господство буржуазии, наказать помещиков, с помощью немцев «обобравших» крестьян, и отдать крестьянам землю. В последние дни гетмановщины крестьяне говорили: «мы все за Петлюру, вот он придет и господ лишит власти». А на вопрос: «так, значит, вы хотите отделить Украйну от России», те же люди отвечали: «ну, это вздор, должен быть Петлюра, но должна быть и единая Россия». Успехам Петлюры способствовали и непонимание народных масс и утомление междоусобием, жажда мира во что бы то ни стало.

Помню типическую сценку на киевском рынке на Бессарабке. Я покупал сливочное масло и слышал кругом оханье, да кряхтение людей, жаловавшихся на цены, непомерно увеличившиеся во время блокады Киева повстанцами. Вдруг мужичек радостно возвестил: «да теперь цены скоро опять будут божеские. Разве не знаете, мир заключен, мир с Петлюрой. Я сам видел на Крещатике огромный белый флаг, на котором об этом написано». Я поинтересовался узнать, что это за белый флаг и пошел на указанное рассказчиком место. Действительно там висел в воздух протянутый с одной стороны Крещатика на другую гигантский белый флаг с надписью: «покупайте газету «Мир». Это была чудовищная реклама о предстоящем выходе новой гетманской газеты.

III. Политики, политика и сверхполитическое.

Бывают такие болезни, в особенности эпидемические, против которых никакие рецепты не помогают, Как там ни лечи, болезнь возьмет свое, пройдет весь положенный ей срок закономерного течения. В этих случаях попытки лечить людей обнаруживают бессилие врачей, а попытки лечить народы – столь же роковое бессилие политиков.

Я думаю, что Украйна могла бы управляться умнее и искуснее, чем она в действительности управлялась, что многие ошибки гетмана и его министров могли быть и не сделаны, но все таки конечный результат был бы по всей вероятности тот же. Украйна должна была переболеть большевизмом. чтобы окончательно от него освободиться. Если бы, например, гетман поменьше полагался на немцев и постарался обзавестись собственной армией, он мог бы дольше бороться с движением Петлюры и даже, пожалуй, справиться с ним, но основной болезни – большевизма – он все-таки не преодолел бы. При том настроении народных масс, какое господствовало на Украйне в 1918 году, всякое собранное там войско было обречено на более или менее быструю большевизацию. Если бы гетманское правительство вело то, что называется «разумной политикой», процесс пошел бы в затяжку, но рано или поздно большевизм все таки взял бы верх. И, кто знает, может быть теперь, летом 1919 года, когда сила большевиков в Совдепии надломлена, эта вспышка большевизма на Украйне была бы еще опаснее для России, потому что в критическую минуту она дала бы в руки Троцкого и Ленина совершенно свежую, нетронутую разложением силу.

Бессилие рецептов и политиков – вообще одно из самых ярких моих наблюдений за зиму и весну 1918-1919 года. В такие дни повторяется все тот же парадокс, который неизменно сопровождает всякие эпидемические болезни. Всякий знает, что корь или оспу лечить нельзя. Но не лечить дорогого и близкого человека нравственно невозможно. И вот вопреки очевидности больного корью лечат, изощряют ум на изобретении способов, которые не приводят к цели.

В политике бывает еще хуже. Когда болен народ, попытки лечения составляют не только непреодолимую нравственную потребность лечащих; они сплошь и рядом внушаются той наивной верой в рецепты, над которой уже давным-давно

возвысилась медицина. Каких только рецептов не приходилось читать и слушать. Были правые, были левые, были явно наивные, были и такие, которые казались умными. Но в конце концов все были непригодны. Болезнь обманула все расчеты, ниспровергла всю нашу обиходную рецептуру.

Кристально чистый граф Келлер, исчезнувший ныне тип генерала доброго времени, говорил мне недели за две до своего трагического конца: «Вся суть в том, что у нас каждый берется не за свое дело, забывая о прямых своих обязанностях. Вот, хотя бы Деникин, мой прежний подчиненный. Я ему поставил вопрос: скажите мне, наконец, ваше превосходительство, кто вы и что вы такое». Он сконфузился и отвечал: «я монархист» и поспешно добавил: «я конституционный монархист». «Ваше Превосходительство, сказал я ему, я думаю, что я не глупее вас, но полагаю, что это не нашего с вами ума дело. Мы военные должны стоять вне политики; для нас должно быть только одно: воля Государя Императора и единая Россия. А о конституции рассуждать нам не приходится. Захочет Государь Император, будет вам и конституция или хотя бы даже федерация, не захочет Его Величество, не будет ни того, ни другого. А мы с вами должны исполнять его волю, а не политиканствовать». – «Граф, заметил я моему собеседнику, ведь это тоже политика, хотя политика правая и монархическая», но тотчас понял, что попытки убедить в этом старика были совершенно бесполезны. Он просто разводил руками и не понимал, повторяя:

«Государь Император и Россия, да какая же это политика».

Позднее в Одессе меня поразило сходство с этими речами бесед французского генерала д'Ансельма, столь же прямолинейного в своих республиканских убеждениях:

«Nous autres militaires, nous ne nous mêlons pas de politique, nous sommes au dehors des parties, maïs pourvu qu'on ne soit pas trop réactionnaire. Oh, ces diables de monarchistes dans l'armée des volontaires! Ils n'ont rien oublié et rien appris» (Мы военные не вмешиваемся в политику, мы вне партий. Однако, не следует быть слишком реакционными. Ох, уж эти монархисты в Добровольческой армии. Они ничего не забыли и ничему не научились.).

Было совершенно так же бесполезно убеждать д'Ансельма, что ратуя за республику и за участи социалистических имен в управлении югом России, он делает партийную политику. De la politique ça, je vous demande bien pardon и уверял, что республика вне партии.

Политические рецепты колебались между этими двумя противоположными полюсами. Были правые, которые говорили,

что надо открыто объявить себя монархистами. По их словам только монархический лозунг в состоянии удовлетворить разочаровавшиеся в большевизме народные массы севера и воодушевить монархически настроенную добровольческую армию. Были и доктринеры слева, которые полагали, что только решительное исповедание республики с левой социальной программой может отшатнуть от большевизма народные массы, которые больше всего на свете боятся реакции. Но были одинаково неправы как те, так и другие; провозглашать монархический идеал в неизжившей большевизма Украйне было, конечно, безумием. Но по той же причине непригодны были лозунги левые, республиканские, демократические и социалистические: при наличности стихийного влечения масс к большевизму – эти лозунги удовлетворить не могли: они оказывались всего только промежуточными ступенями, на которых народное движение даже не задерживалось.

Так же несостоятельны были рецепты, исходившие из «ориентации» немецкой или французской, потому что ни та, ни другая не могла совершить самого главного для спасения России дела – исцелить южную Россию от заразившей ее и еще не изжитой ею болезни.

Когда я приехал на Украйну – немецкая ориентация доживала свои последние дни. Сторонники единой России от нее отшатнулись в виду обнаруженного немцами бессилия и их предательской политики в Москве. П.Н. Милюков, коего я застал в Киеве, в то время от нее решительно отказывался. Но у немцев еще оставались приверженцы среди тех изверившихся в России и деморализованных русских, которые связали свою судьбу с мыслью об Украйне. Они приходили в панический ужас при мысли, что возможный уход немцев тотчас сделает неизбежным торжество большевизма на Украйне. Я уже говорил о том, как поражение немцев и их уход опровергли эти возлагавшиеся на них надежды.

Тогда все надежды устремились в сторону союзников. А.В. Кривошеин, высказывавшийся раньше за допустимость при наличии известных условий «немецкой ориентации», отправился вместе с П.Н. Милюковым для переговоров с союзниками в Яссы. Разговор мой с А.В. перед его отъездом из Киева ясно показывает, до чего преувеличены были тогда надежды «государственно-мыслящих» русских людей на англичан и французов. Я выразил надежду, что мы вернемся в Москву к осени 1919 г. «Нет, сказал мне А.В., после только что совершившихся событий, мы можем вернуться туда гораздо раньше, я думаю, примерно к Рождеству». Если у государственно мыслящих были преувеличенные надежды,

то, наоборот, у большевицки настроенных масс явились преувеличенные опасения.

Крестьяне, доселе дрожавшие перед немцами, не на шутку испугались прихода «тех, что победили немца». По деревням говорили: «плохо, братцы, будет, вот мы союзникам изменили, а они придут в деревню, да спросят, кто в семнадцатом году бежал с фронта. Иван, да Сидор. Подать сюда Ивана да Сидора. Всех разыщут да расстреляют». И бывшие солдаты начали в панике массами выправлять себе по волостям фальшивые свидетельства, где значилось: «уволены с фронта по болезни». Как бесконечно далеки мы были в то время от мысли, что победа союзников не ускорит, а наоборот задержит освобождение России от большевиков. Союзники в то время казались каким то всемогущим земным божеством, которое может карать и миловать и непременно будет спасать.

Были, конечно, и скептики, которые сомневались, указывая на «утомление» союзников, но их тотчас приводили к молчанию. «Разве вы забыли угрозы англичан большевикам за тяжкое оскорбление английского посольства в Петрограде и за дерзкое убийство там английского офицера? Неужели вы думаете, что англичане могут проглотить такое наглое издевательство над Англией? Возможно ли допустить, что англо-французы не понимают международной опасности открытого очага большевицкой заразы, который заразит весь мир?»

И политическая мысль продолжала работать в расчете на иноземную помощь.

Сколько было потрачено времени на бесплодные заседания из-за этого ошибочного расчета. Помнится, вся зима 1917-1918 года в Москве ушла на бесплодные, бесконечные споры об ориентациях. Споры эти иногда переходили в ссоры, инакомыслящие заподазривались в отсутствии патриотизма. В Москве две близкие по духу организации «национальный центр» и «правый центр» раскололись совершенно понапрасну, из-за того только, что последний признавал допустимыми и желательными не какие либо соглашения с немцами, а хотя бы переговоры с ними с целью уяснить их планы относительно России, тогда как национальный центр считал всякие выяснения безусловно непозволительными. И после того, как отношения были совершенно понапрасну порваны, переговоры правого центра с немцами не только не привели к немецкой ориентации, но лишний раз убедительно доказали ее полную нежелательность в виду недоброжелательного отношения господствующего в Германии направления к мысли о единой России.

Потом на Украйне, когда все колебавшиеся и все

разочаровавшиеся перешли на сторону «союзнической ориентации», последняя послужила темой для новых столь же многочисленных и бесплодных заседаний. Бесплодность их происходила от того, что они покоились на двух ошибочных предположениях: 1) что Россия не может возродиться и освободиться от большевиков собственными силами и

2) что поэтому единственная надежда на спасение России военная ей помощь, деятельное вмешательство держав согласия в русские дела.

Из этих предположений исходили все те общественные группы, которые мне приходилось наблюдать в Киеве. Также и впоследствии в Одессе все строилось на предположении, что союзники окажут деятельную помощь. Все было направлено к тому, чтобы во что бы то ни стало получить эту драгоценную помощь, уладить отношения между союзниками и добровольческой армией, все время очень шероховатые. Так как в конце концов французы внезапно бросили Одессу и Крым на произвол судьбы, у меня осталось впечатление огромного усилия, потраченного совершенно даром.

А между тем, сколько времени, сколько сил было израсходовано. За эти две зимы в Москве и на юге России меня поражала болезненная страсть русских общественных деятелей к заседаниям. Бывали дни и недели, когда приходилось заседать по два, по три раза в день и на это уходило все время, так что не было возможности заняться чем либо другим. Всегда уходя из заседания испытываешь гнетущее впечатление, что мы ни на шаг не подвинулись вперед. Получая новую повестку, бывало думаешь: «не пропустить ли, ведь не непременно именно на этом заседании спасут». И в конце концов идешь из опасения, как бы какое-нибудь случайно составившееся большинство не постановило чего либо несуразного. Поразительная черта этих заседаний в том, что большая часть времени в них уходила на взаимную «информацию». Засим в виду безысходности положения после томительной болтовни организация или вовсе не приходила к определенному решению или принимала такое решение, которое только обнаруживало ее бессилие: составить меморандум для отсылки в Париж, послать депутацию к французам или в Екатеринодар. Меморандум посылался, но исчезал бесследно. Оставалось неизвестным, прочтен он или не прочтен, кем следует, и даже получен ли он по назначению.

Отправлялась депутация, но она или не оказывала никакого действия на ход событий или оказывала слабое действие, которое затем легко уничтожалось противоположными влияниями.

Хроническая неудача общественной деятельности вызывала

нервное настроение. Люди горячились, ссорились, обижались, обвиняли друг друга в неумении, в бездействии, в политической бездарности, но на другой же день снова собирались и снова без конца рассуждали. По-видимому, эта черта свойственна безысходным положениям.

Брат мой Григорий (Кн. Гр. Ник. Трубецкой, бывший русский посланник в Сербии.) рассказывал мне, что та же несчастная страсть к заседаниям поражала наблюдателей во время войны в Сербии, в дни непосредственно предшествовавшие ее эвакуации. Потребность заседать является в таких случаях у людей, которые не хотят или не могут отдать себе отчета в неизбежности надвигающейся катастрофы или в безысходности положения. Они стараются обмануть себя надеждой, что общими усилиями какой то выход будет найден. Типическим примером такой психологии является для меня М.В. Родзянко, зимою 1918-1919 года неуклонно повторявший всякому встречному и поперечному, что для спасения России требуется немедленный созыв государственного совещания из бывших членов государственных дум. Несчастный, ему еще не осточертели совещания и он продолжал в них верить в то время, когда было столько доказательств их бесплодности.

Потребность в таком самообмане особенно сильна среди беженцев. В больших городах скопляется великое множество выбитых из колеи общественных и государственных деятелей, которым решительно нечего делать. А между тем живут они в гнетущей обстановке, в тесноте, без денег. Многие вдали от своих семейств, в тягостном сознании катастрофы, длящейся и развивающейся. Катастрофа напоминает о себе каждый час, каждую минуту, на каждом шагу повседневной жизни. Дома водопровод зачастую не работает, звонки не звонят, электричество периодически не светится, на улицах трамваи не ходят, на рынке цены непомерно растут, а с севера тревожные или катастрофические вести о России, об участи близких. При этом все живут с уложенными чемоданами в непрекращающемся страхе нового нашествия большевиков и в приготовлениях к новому бегству. Как в этой общей беде не собраться и не обсудить, что делать. И вот на этой почве рождаются бесчисленные собрания и обсуждения, которые готовят новые разочарования.

Помнится, в Киеве мы ежедневно несколько раз заседали почти в одном и том же составе, но под разными наименованиями. То мы назывались «совещанием членов законодательных учреждений», то «совещанием городских гласных». Конечно, были варианты; на каждом новом совещании

не было одних деятелей, но за то являлись другие, раньше не встречавшиеся. В общем же лица до такой степени повторялись, что я иногда забывал, кто мы сегодня, горожане, земцы, члены законодательных учреждений или еще кто-нибудь. В этих случаях бывало толкнешь соседа и спрашиваешь: «как мы сегодня называемся». Собирались кроме перечисленных организаций еще промышленники, члены союза земельных собственников, члены церковного собора, сенаторы, банкиры, профессора. Всех организаций я даже не берусь вспомнить. Наконец, общественные деятели напали на счастливую, казалось, мысль, объединить все эти организации русской буржуазии в одно целое, составить из них нечто вроде союза союзов.

Так и было поступлено. Все названные и неназванные буржуазные организации составили вместе единый «Совет Государственного Объединения», куда были выбраны представители каждой из групп. Совет в свою очередь выбрал Бюро с председателем бароном В.В. Меллером-Закомельским во главе. В совет вошли видные государственные и общественные деятели: А.В. Кривошеин, В.И. Гурко, (*см. – В.И. Гурко «Царь и Царица» Изд. «Возрождение», Париж – 1927 г.; ldn-knigi)* С.Н. Маслов, П.Н. Милюков, Ф.И. Родичев, П.И. Новгородцев, графы А.А. и В.А. Бобринские, С.Е. Крыжановский и многие другие. Казалось, все обещало блестящую будущность этому представительному учреждению, объединявшему все собранные в Киеве, а затем и в Одессе вершины русской буржуазии. При этом совет работал чрезвычайно много; не проходило дня без заседаний его бюро, которое по мере надобности созывало общее собрание. И, однако, как член совета и бюро, я должен по совести сказать, что результаты деятельности совета за зиму 1918-1919 года равны нулю.

Кто в этом виноват? Многие из нас, к сожалению, искали виновников, обвиняя то председателя, то бюро в его целом. Напрасные обвинения: виноваты были решительно все. Председатель и бюро строили всю свою деятельность на тех самых ошибочных предположениях, из которых исходила в то время вся антибольшевицкая часть русского общества. Когда началась деятельность совета, никто не верил в возможность спасения России ее собственными силами. Положение, что не может быть спасения без военного вмешательства союзников, всем казалось аксиоматическим. И вот жизнь опровергла эту мнимую аксиому.

Казалось, Совет дебютировал блестяще: ясская конференция была по преимуществу делом его рук. Когда его делегаты П.Н. Милюков, А.В. Кривошеин, Шебеко, Гурко, барон Меллер-

Закомельский и другие явились в Яссы, оказалось, что союзники были далеки от намерения вмешиваться в наши дела. Утомленные великой европейской войной, они не особенно заботились о России, полагая, что ее спасение должно быть ее собственным делом. Делегатам Совета государственного объединения, национального центра и союза возрождения пришлось потратить не мало усилий, чтобы сдвинуть англичан и французов с этой точки зрения. И однако это удалось, причем блестящая речи наших делегатов – Гурко и Милюкова сыграли большую роль в этом деле. Французский десант в Одессе явился прямым последствием ясской конференции. До конференции он вовсе не имелся в виду. Казалось, стало быть, что первый шаг Совета государственного объединения был большой заслугой перед родиной. И однако последующие события показали, что заслуга была мнимой. Это обнаружилось, когда волею судеб деятельность совета перенеслась из Киева в Одессу. К этой теме придется вернуться, когда дойдет очередь до одесского периода моих скитаний. Заканчивая этот отдел о пребывании в Киеве, мне хочется сказать два слова о том подлинном, не призрачном, что я там наблюдал.

Это подлинное было только в церкви и в ее окружении. Блуждая в дебрях политики, русские общественные деятели или постыдно забывали о России, приобретая ценою этого забвения помощь немцев, или же тщетно искали, но не находили пути к ее воссозданию. В политике мысль об единой России была только мечтою, в минуты тяжкого сомнения могло казаться даже, что это мечта утопическая, неосуществимая. Наоборот, в области сверхполитической она была реальностью.

Утраченная в миру единая Россия сохранилась в церкви. Попытки привить к ней украйнство сразу и безнадежно провалились. Заседавший в Киеве всеукрайнский собор решительно и резко высказался против автокефалии, к которой в целях украйнизации стремилось гетманское правительство. Всего два-три члена собора – сторонники автокефалии, пытались произносить речи на украйнском наречии. Во время одной такой речи крестьянин хохол спросил соседа – архимандрита, о чем говорит оратор, ибо он его не понимал; а сосед оказался чистым великороссом, по происхождению тамбовским уроженцем. Собор вообще не понимал ни слова, ни тем боле духа этих речей. Он горячо стоял за единение со всей православной Россией. К всероссийскому патриарху он относился с глубоким сочувствием и сыновней почтительностью. Благодаря этому весь тот мир призраков, которым жило государство, оказался совершенно чуждым церкви.

Бывало, слыша немецкую речь на улицах и читая раздражающие украйнские надписи – «поштова скринька» вместо почтовый ящик или «спилка» вместо союз, чувствуешь себя словно на чужбине. На каждом шагу мучительные напоминания об утрате родины, наглые издевательства над русским национальным чувством. Приходишь в церковь и сразу чувствуешь себя успокоенным, удовлетворенным. Церкви удалось сохранить в полной неприкосновенности единый для всей православной России богослужебный церковно-славянский язык. Попытка ввести в церковную службу уродливую украйнскую «мову» успеха не имела. Другое яркое напоминание о национальном единстве – поминовение Тихона – патриарха московского и всея Руси во время литургии. Чувствовалось, что это не буква, а жизнь.

В украйнских храмах мы русские люди были у себя дома и это необычайно повышало ощущение нашей непосредственной близости к церкви. Приятно и новшество, которого не было в богослужении во времена дореволюционные. «Верую» и «Отче наш» теперь исполняются в храмах не одним клиром или хором певчих, а всем собором молящихся. В этой новой бытовой подробности отразилось то оживление соборного начала, которое составляет характерную черту церковной жизни в нашу смутную эпоху. Богослужение тем самым приобретает недостававшую ему раньше жизненность. Именно в минуты этого соборного пения молящихся охватывает и поднимает чувство ожившей в церкви родины.

В такие эпохи, как наша, становится ясным, какую силу приобретает в церкви и через церковь вера в Россию. Мирское общество во всех слоях своих деморализовано; русские люди в большинстве своем променяли родину на низкую корысть, забыли о ней ради классовых интересов. А рядом с этим в церкви величайший подвиг бескорыстия и самоотвержения – героизм и мученичество.

За оградой Киево-Печерской лавры, на печерском крепостном валу стоит крест, напоминающий о мученической кончине митрополита Владимира, убитого большевиками на этом самом месте. В течение нескольких часов убийцы, явившиеся в келью святителя, требовали от него, чтобы он освободил монахов от монастырского послушания и преобразовал монастырь на началах коммунистического равенства. Но митрополит оказался непоколебимо твердым до конца и по долгу пастырской совести отвечал на эти домогательства решительным отказом. Тогда его вывели за монастырскую ограду и расстреляли.

Тут перед нами один из самых изумительных парадоксов

нашей действительности. С одной стороны в жизни все носит подобие смерти, все свидетельствует об общественном разложении и гниении, о смертельной болезни России. С другой стороны крест на месте кончины митрополита-мученика, да кресты на могилах безвременно погибших офицеров-мучеников – яркие свидетельства о неумирающей жизни России. Не все в ней погибло. Есть в ней великие непобедимые духовные силы, есть люди неспособные капитулировать перед злом и умирающие за правду. Вот о чем нам говорят эти кресты. Это духовный точки опоры для нашей веры в родину. Вспоминая этих дорогих отошедших, проникаешься чувством неизъяснимой бодрости. И становится очевидным, что своею смертью эти люди сделали для России бесконечно больше, чем может сделать для нее человек всею своею жизнью. Они пробудили ту веру, которая горы передвигает и тем самым совершили то величайшее дело, от которого зависит наше спасение. Чтобы спасти Россию, надо, прежде всего, поверить в правду Божию и в нее, как поборницу этой правды. Политика, искавшая спасения России не в ней самой, а в иноземной помощи, не спасала именно потому, что не верила или недостаточно верила.

IV. Переезд в Одессу.

Восстание Петлюры вынудило нас беженцев из Совдепии ко второму бегству из Киева. Одесса, как прибрежный город занятый французскими войсками, намечалась само собою не только как безопасное местопребывание, но и как новый центр нашей деятельности. Пребывание в Одессе единственного дипломатического представителя союзных держав – французского генерального консула Энно делало именно ее наиболее удобным местом для сношений с союзниками. Во всех прочих центрах юга России, не исключая и Екатеринодара, были лишь третьестепенные дипломатические агенты без достаточных полномочий, к тому же весьма плохо осведомленные о том, что творилось у них дома и даже о намерениях их правительств. Россия вообще была заброшенным союзниками углом. Они не позаботились даже об установлении с нею правильных телеграфных и радиотелеграфных сношений. Радиотелеграммы были чрезвычайно скудны. Нередко были и ложные; при том сенсационные радиотелеграммы, например, сообщение о мнимом низвержении Клемансо в момент оставления французами Одессы. С первого же моего появления в Одессе я был поражен тем фактом, что консул Энно был вынужден посылать все сколько-нибудь пространные, хотя иногда и весьма спешные сообщения, не телеграммами, а курьерами, которые отправлялись во Францию на миноносцах.

Мне пришлось попасть в Одессу одному из первых. До меня из членов Совета государственного объединения там находились лишь члены ясской делегации с бароном Меллером-Закомельским во главе. Я был командирован туда из Киева с поручением побудить французов к скорейшей присылке отряда для освобождения Киева от осаждающих его войск Петлюры.

Когда началось движение Петлюры, престиж союзников, как сказано, стоял необычайно высоко. Все ждали их выступления и возмущались медленностью их приготовлений. Мне и моему спутнику А.С. Хрипунову было поручено довести до сведения Энно, что это промедление, кроме захвата Киева, может иметь другие неисчислимые последствия: движение большевиков внутрь Украйны и захват большевиками несметных сокровищ – запасов хлеба, угля, сукна, оружия и т. п. Премьер министр последнего русского кабинета гетмана – С.Н. Гербель несколько наивно признается нам в том, что в расчете на будущее наступление союзных и русских войск «нарочно» оставил нетронутыми богатые хлебные запасы и сукно (в Клинцах) на севере Черниговской и

Харьковской губерний, как раз в непосредственном соседстве с Совдепией. Он побуждал нас к скорейшему отъезду. «Киев может продержаться еще восемь дней», говорил он, «за дальнейшее я не ручаюсь».

И это не смотря на то, что и у Петлюры настоящих войск было мало. Хороших солдат по официальным сведениям было не более трех тысяч. Остальные были шайки грабителей из восставших крестьян. Безопасность Киева при этих условиях зависла всецело от немцев, которые играли во всех этих событиях весьма двойственную роль. С одной стороны они провозгласили «нейтралитет» и невмешательство в домашние ссоры русских с украйнцами, с другой – выходило сплошь да рядом, что этот нейтралитет служил на пользу украйнцев. Один из немногих успехов добровольцев был остановлен немецкими войсками, которые объявили, что в данном месте нейтральная полоса, и потребовали прекращения военных действий как раз в важный момент преследования добровольцами дрогнувших петлюровцев. Энно из Одессы оказывал давление на немцев в нашу пользу и благодаря этому они объявили, что не допустят уличных боев в Киеве. Но в общем немцы были в высшей степени ненадежны, Их командование, сохранившее не смотря на революцию некоторое влияние на солдат, явно симпатизировало петлюровцам. Оно, видимо, продолжало традиционную политику немецкой дипломатии, стремившейся к расчленению России.

При этих условиях откладывать нашу поездку в Одессу было действительно невозможно. Но затруднение заключалось в том, что Киев был обложен почти со всех сторон. В момент нашего отъезда был свободен только путь на Харьков. Туда нас и направили, но с предупреждением принять все необходимые меры предосторожности. «У вас, конечно, есть фальшивые паспорта», заботливо внушал нам напутствовавший нас министр путей сообщения и, подумав, добавил: «впрочем, кто же не знает, что теперь нельзя путешествовать без фальшивого паспорта». Это было мое последнее впечатление от украйнского правительства. Совет обзавестись фальшивым паспортом. Можно ли подыскать более яркое изображение призрачности того государства, где министры вынуждены давать подобные советы. Министр был прав. Фальшивый паспорт на имя Евгения Николаевича Торленко с моим портретом, припасенный еще в Совдепии, пригодился в дороге.

Переезд до Харькова обошелся без каких либо осмотров, хотя близ станции Ромоданы Полтавской губернии мы проезжали в непосредственном соседстве от поля сражения, видели стоявшие недалеко друг от друга петлюровские и наши войска. Генерал,

занимавший Ромоданы, спешивший с эвакуацией, не хотел нас пропускать, говоря, что раньше он должен эвакуировать четыре поезда с воинским имуществом. Но на наше счастье с нами ехало железнодорожное начальство, а в то же время из Киева за движением нашего поезда следил С.Н. Гербель. Железнодорожники во время дали телеграмму в Киев и ответной телеграммой оттуда нас велели пропустить. Мы счастливо проскочили в Харьков, откуда мы должны были искать путь к морю и в Одессу, куда иначе как морем проникнуть было нельзя.

Сведения полученные нами в Харькове были весьма безотрадны: путь на Севастополь оказался почти отрезанным, так как близ станции Синельниково действовала разбойничья банда знаменитого Махно, которая останавливала поезда и нещадно их грабила. А путь на Новороссийск был перерезан другой бандой. Поезда, впрочем, ходили как в том, так и в другом направлении. В виду важности данного нам поручения ехать было все-таки необходимо. А ждать было немыслимо, как в виду срочности поручения, так и в виду событий назревавших в Харькове. Приход большевиков там ожидался со дня на день. На железнодорожном вокзале прислуга, ожидавшая прихода большевиков, держала себя необыкновенно нахально и грубила пассажирам. Лакей, вообразивший, что я еду на север, говорил мне: «чего вы к большевикам едете, не стоит, они сами сюда придут».

В виду неизбежности поездки мы выбрали кратчайший путь на Севастополь. В дороге наши фальшивые паспорта проверялись петлюровцами. Мы ждали с волнением Махно и на всякий случай прикололи имевшиеся у нас пачки «керенок» к оконной занавеске с задней стороны, обращенной к окну. Предосторожность оказалась лишней. Махно, накануне ограбивший поезд, шедший в те же часы, оставил нас в покое. Он, видимо, обладал природой удава, который, только что проглотив добычу, на другой день ее переваривает, а потому пока не нападает.

По приезде в Севастополь нас встретили пассажиры с предыдущего поезда с расспросами: «ну что, ну что, как доехали» и рассказали, что их обобрали до нитки, у некоторых отняли даже шапки. Синельниково мы проспали и только рано утром были разбужены выстрелами. «Ну, все пропало, грабят», раздался голос полусонного пассажира. Поезд вскоре тронулся. Стреляли не грабители, а офицеры-добровольцы, которые остановили нас для осмотра и проверки документов. От одного из этих добровольцев я узнал о том, как грабят поезда в пути. «Как то раз, начал он, постучались мы в запертое купэ первого класса, но оттуда женский голос отвечал: скорее застрелюсь, но не открою дверь. Что делать? Мы обязаны осматривать, пришлось взломать купэ. И

увидали мы там совершенно раздетую женщину без вещей, без денег и без платья. Вот как очистили».

В Севастополе произошла первая наша встреча с союзниками. Дипломатических агентов, как сказано, там не было. Но там находился небольшой английский десант и стояла английская эскадра с адмиралом Кольторном во главе. Мы решили воспользоваться случаем, чтобы довести до сведения союзников, об ожидаемом падении Киева и о необходимости помощи. Тут, перед нами в первый раз обрисовалась вся трагическая безысходность положения.

Первое тяжелое впечатление произвели на нас свои же, русские. Мы попытались устроить свидание с англичанами через местных властей. Должностное лицо, к которому мы с этим обратились, заявило нам, что теперь оно не у власти, так как вся власть переходит к демократической думе: «вот, в соседней комнате сидят их представители, мы их спросим». Чиновник, посланный с вопросом к «демократам», вернулся с ответом, что демократы сами спрашивают, петлюровцы мы или гетманцы и вообще к какой партии мы принадлежим. После этого было решено с левыми не связываться. Если бы они узнали о нашей партийности, от них нельзя было бы ожидать ничего кроме пакостей. Мы решили попытаться проникнуть к англичанам без всякой местной рекомендации. Это и удалось без труда.

Мы попали на английский броненосец. Но сам адмирал в это время был занят разговором с начальником немецкого гарнизона, еще находившегося в Севастополе. Поэтому вместо адмирала нас принял его начальник штаба. За всю жизнь я не помню официального приема более холодного и неприятного. Англичанин не подал нам руки и, выслушав наше сообщение, ответил нам, злобно смотря на нас: «Мы кончили великую европейскую войну, а вы хотите вовлечь нас в войну, может быть еще более трудную. Нет, извините, о возрождении России должны заботиться сами русские. Мы занимаем здесь портовые города, которые нам нужны. А Киев и Харьков далеко. Позаботьтесь о них сами». В сухом и холодном тоне, каким это говорилось, чувствовались неприязнь и безграничное презрение к России. К тому же от нашего собеседника мы узнали поразившую нас громом весть, о вступлении в Одессу войск Петлюры. Англичанин, видимо, тешился нашим отчаянием. «Вы напрасно говорите, что они бандиты», заметил он. «По нашим сведениям, это прекрасно дисциплинированные войска и в Одессе господствует порядок».

Мы поспешили откланяться. И когда мы очутились на берегу, встречные немецкие офицеры показались нам симпатичными по

сравнению с англичанином.

Возникал вопрос, стоит ли ехать дальше. Но жребий был брошен. Даже отчаявшись в надежде добиться помощи, мы должны были ехать в Одессу, чтобы узнать от Энно о видах на будущее и соответственно с этим предупредить наших друзей и единомышленников в Киеве о том, что их ожидает, и побудить их к отъезду, если это окажется нужным. Пребывание в Одессе при наличии там петлюровцев было не безопасно. Но с нами были наши фальшивые паспорта, которые на первое время послужили нам защитою.

Отдохнувши благодаря приятному морскому путешествию, мы очутились в Одессе, где первоначально остановились и прописали наши фальшивые паспорта в дрянной и грязной гостинице третьего разряда. Оттуда мы отправились непосредственно к Энно, проживавшему в Лондонской гостинице, и получили совершенно иное впечатление, чем от разговора с англичанами. Но все же мучительная тревога за будущее не была рассеяна и этим свиданием. В конце Екатерининской улицы, в непосредственной близости от Лондонской гостиницы нас остановили французские часовые и польские легионеры. Оказалось, что мы подошли к французской зоне, охватывавшей порт и часть прибрежной полосы. Ненормальность положения бросалась в глаза. Во французской полосе кроме польских легионеров находился весь одесский отряд добровольцев, за несколько дней перед тем сражавшийся с петлюровцами на границах зоны. Об враждующие армии находились на расстоянии нескольких шагов одна от другой. Когда некоторые из добровольцев, пользуясь фактически установившимся перемирием, отважились на прогулку за пределами зоны, петлюровцы срывали с них погоны. Было очевидно, что так долго продолжаться не может. Положение было опасным и сначала не намечалось определенного выхода. А между тем уже самый факт вторжения банд Петлюры в Одессу был тяжелым ударом престижу тех, что победили немцев.

Мы, приехавшие искать защиты у непобедимой силы французской армии, на границах зоны впервые испытали мучительное для нас ощущение бессилия победителей. И мы недоумевали, что это значит, как это понять. Как могли французы попасть в столь грязную лужу, получить это неожиданное посрамление от ничтожного отряда, наполовину состоявшего из разбойничьих банд, когда сил небольшого французского десанта и мощной артиллерии французских броненосцев, стоявших в порту, было вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли самое воспоминание об этой сволочи. Увы, то же впечатление рокового

бессилия победителей продолжалось до самого конца моего пребывания в Одессе, а «недоуменные вопросы» кончились лишь в ту минуту, когда я понял, что ставка на французов раз навсегда и притом безнадежно провалилась.

Во французскую зону нас пропустили сравнительно легко, а в Лондонской гостинице у моего спутника А.С. Хрипунова нашелся влиятельный приятель Н.Н. Богданович (впоследствии помощник одесского градоначальника), который без труда тут же устроил нам прием у Энно. Последний искренно обрадовался приезду членов Совета государственного объединения и немедленно предложил нам переехать в Лондонскую гостиницу, в реквизированный французскими властями номер, под защиту французского оружия, что мы немедленно исполнили, прописав на этот раз наши подлинные паспорта.

Оказалось, что приезд наш был как нельзя более кстати. Энно, встретивший нас чрезвычайно приветливо, как искренний друг России, жаловался нам на то, что в эту критическую минуту он остался один без русских советников. Даже те, кто был раньше в Одессе, после втрожения петлюровцев поспешно уехали в Крым. Мы тут же составили телеграммы в Крым и Киев – звать всех членов нашей организации в Одессу. Энно выразил полное удовлетворение, просил нас остаться с ним в эти тревожные дни и начал с нами откровенную, чрезвычайно волнующую беседу.

С первых же слов мы убедились, что имеем дело с человеком, который прекрасно знает и тонко понимает Россию, и при этом чрезвычайно ей предан и убежден, что восстановление единой и неделимой России необходимо для безопасности Франции в будущем. Мы тотчас поняли, что весь тот осведомительный материал, который мы привезли с собою в Одессу, совершенно бесполезен, так как Энно знает не меньше, а гораздо больше нас. Так мы хотели осведомить его о связи германцев с петлюровцами. А он показал нам цитаты из своего рапорта министру иностранных дел Пишону, где говорилось, кто из петлюровцев, когда и сколько получил во время войны немецких и австрийских денег. Все характеристики отдельных лиц были совершенно точны. Он знал, кто из петлюровцев подкуплен и кто честен. От него не ускользнул ни тот факт, что Грушевский продажный негодяй, ни тот, что Петлюра убежденный, но наивный фанатик. C'est un esprit honnête dans le sens français du mot, me comprenez vous? – Vous voulez dire borné? пояснил я. C'est ça, nous nous comprenons (Это честный ум – во французском смысле этого слова. Вы меня понимаете? – Вы хотите сказать – ограниченный? – Именно так, мы понимаем друг друга.).

Призрачность украйнства была для него так же очевидна, как

и для нас. Он ясными словами говорил Пишону, что это, во первых, большевицкий маскарад, который может обманывать только наивных, а во вторых плод немецкой интриги, попытка немцев отыграться на Украйне за проигрыш войны. Я знаю, говорил он, если мы не восстановим единую Россию, все наши победы сведутся к нулю; немцам нужно расчленить Россию, чтобы со временем иметь возможность нас раздавить.

Я слушал эти умные речи со смешанным чувством. Мне было и радостно, и страшно. Слава Богу, говорил я себе, у французов есть здесь представитель, ясно сознающий положение. Но вместе с тем я недоумевал, как это все делается французами на юге России как раз вразрез с этим ясным сознанием спасительного для России и Франции пути. Вспоминались дошедшие до нас еще в Киеве тревожные слухи о непрочности положения Энно.

Мысли, зарождавшаяся во мне по этому поводу, приняли совершенно ясную конкретную форму, когда я прочел Энно французский мемуар Совета государственного объединения, написанный мною и одобренный Советом, который поручил нам настоять на отсылке этого мемуара Пишону и Клемансо. Там мы указывали на международную опасность большевизма в виду его всемирно-завоевательных стремлений. Мы доказывали ту простую, ясную для нас истину, что программа большевизма, составляющая его сущность, война против буржуазии всех стран. «Коммунизм, говорилось в мемуаре, существует или везде, или нигде». Если русский гражданин может быть владельцем недвижимости и капиталов во Франции или француз может владеть капиталом или землей в России, это значит, что нет коммунизма ни в Москве, ни где бы то ни было. Для большевизма поэтому всемирное осуществление коммунизма – вопрос жизни или смерти. И пока большевики у власти в Москве, все средства русского казначейства будут затрачиваться на пропаганду с единственной целью всюду зажечь междоусобную войну, которая теперь происходить в России.

«Я с удовольствием пошлю ваш мемуар с первым же миноносцем в Париж, сказал Энно, но только должен вас предупредить: меня вам убеждать незачем, так как я совершенно с вами согласен, а убедите ли вы тех там в Париже – другой вопрос. Как бы дело не ограничилось доставлением им приятного чтения после завтрака. Но ведь не о литературе же вы заботитесь». И он обещал не только послать мемуар, но и использовать его в рапорте. Я ясно почувствовал, что «у них там в Париже» какие то глубокие внутренние препятствия к пониманию, быть может, даже нежелание понимать, вследствие чего не только наш мемуар, не только Энно, но и сам Клемансо,

который несомненно понимает, рискует остаться непонятым. И чем дальше я жил в Одессе, тем яснее и яснее становилась для меня природа этих внутренних препятствий.

Разговор перешел на местные одесские впечатления и тут я испытал мучительное чувство стыда за своих соотечественников. Энно рассказал нам, как и почему была сдана Одесса. Оказалось, что ее было можно и должно защищать. Но одесским отрядом Добровольческой армии командовал недостойный и неспособный генерал. Вместо того, чтобы оказать сопротивление, он увел и укрыл весь свой отряд на пароходе добровольческого флота «Саратов» и город был сдан. Когда Энно потребовал у этого полководца объяснений его действий, тот отвечал: «да, что же мне оставалось делать?». «Вы спрашиваете меня, что делать» – отвечал Энно, «выполнить ваш долг, генерал» и не подал ему руки на прощание.

«Вы знаете, продолжал мой собеседник, я предан России, я скоро вступлю в родство с ней (Энно в то время был женихом патриотически настроенной русской еврейки), это моя вторая родина.

Но этого эпизода постыдной сдачи Одессы я целиком французам не рассказываю. Если какой либо французский генерал встретится с этим русским генералом, я вам ручаюсь, дело России проиграно – la cause de la Russie est perdue».

Мне было невероятно больно слушать этот рассказ. Но слушая, я все таки недоумевал. Да, русский генерал вел себя постыдно, но ведь вся его команда в шестьсот человек легко уместилась на одном пароходе. Что же делали в то время две тысячи французов, да тысяча польских легионеров им подчиненных, если цифра в шестьсот добровольцев признавалась вполне достаточной для защиты города?

Основательность этого моего недоумения получила через несколько дней полное подтверждение. Энно видимо получил из Парижа то разрешение приступить к решительным действиям, которого он добивался. «Завтра не будет зоны в Одессе, у нас будет весь город, русский город» , сказал он мне с радостным лицом.

Так и вышло. На другой день я был разбужен неистовой пальбой—ружейной и оружейной. Наши пушки палили у самой Лондонской гостиницы. К концу дня пальба стала удаляться и стихать, а на другой день она и вовсе прекратилась. Город был наш. Шестьсот добровольцев прогнали из Одессы три тысячи петлюровцев; в их рядах было лишь немного французских офицеров. Ранен был всего один француз на судне орудийным выстрелом. За то добровольцы потеряли убитыми и ранеными

треть своего состава – двести человек.

Честь добровольческой армии была восстановлена благодаря смене недостойного генерала энергичным генералом Гришиным-Алмазовым. Французский генерал Бориус дал лестный отзыв о блестящем поведении доблестных русских офицеров. Но снова возникал вопрос, о чем же раньше думали французы, почему они дали посадить себя в калошу? Впоследствии, когда я присмотрелся к французским солдатам, я понял, в чем дело. Я видел солдата на часах, который приставил ружье к караульной будке и, скрестивши руки, около него прогуливался. Живо вспомнилось мне замечание русского извозчика курящим немецким часовым: у нас в русской армии бывало за это расстреливали.

И я не мог удержаться от мысли: победители немцев тоже чем то подточены. Они просто напросто «отвоевали» и никакими силами в мире нельзя заставить их после мировой войны начать новую войну, хотя бы и маленькую. Ибо и маленькая война для каждого может окончиться смертью. А перемирие было принято всеми этими измученными и уставшими людьми, как бесцельное обетование жизни. Кончилось царство смерти, теперь жизнь во что бы то ни стало и какой бы то ни было ценой, хотя бы для этого пришлось пожертвовать престижем Франции и кричать: да здравствуют большевики.

V. Пребывание в Одессе.

Народные и общественные настроения.

От пребывания в Одессе у меня осталось впечатление, быть может, еще более тягостное, чем от пребывания на Украйне. И русские способствовали этому не меньше, чем французы. Я чувствовал себя в атмосфере общественного разложения, в стране обреченной большевизму. Было очевидно, что торжество его задерживается только внешней силой, только страхом. Поэтому ухода французов в Одессе боялись совершенно так же, как незадолго перед тем – ухода немцев в Киеве.

Всем нам было прекрасно известно, что город кишмя кишит большевиками, что в нем денно и нощно ведется большевицкая пропаганда как среди русского простонародья, так и среди французских солдат. Доходили сведения (потом по уходе французов подтвердившиеся), что весь город разделен большевиками на участки, что в каждом участке имеется заранее намеченный комиссар, что существует уже, хотя пока на нелегальном положении, совет рабочих депутатов, который только ждет благоприятной минуты, чтобы объявиться и организовать восстание. Обыватели об этом знали, полиция или не знала, или не хотела знать, или не умела выследить.

Пропаганде способствовало то ненормальное положение, которое создалось благодаря пассивному образу действий французов. Город был окружен тесным кольцом петлюровской блокады, а французы против него долго ничего не предпринимали. Снабжение предметами продовольствия было до крайности затруднено, а потому и цены стояли в Одессе такие, каких я в то время нигде на юге России не помню: фунт хлеба иногда доходил до семи рублей и более. Поэтому на базарах слышался народный ропот, который, разумеется, муссировался большевиками. «Есть нечего, хоть помирай» – говорили одни. «Надо уметь доставать» – отвечали другие, «все припасы в Лондонской гостинице припрятаны, там их и доставайте». Этот кивок на Лондонскую гостиницу был направлен не только в сторону Энно, там жили некоторые видные представители власти, там же был центр деятельности Совета государственного объединения. Многие номера были заняты его членами, в одном помещалась его канцелярия. В той же гостинице происходили заседания совета и его бюро. Словом, Лондонская гостиница была центром франко-русского официального мира и в то же время

центром деятельности наиболее могущественной буржуазной организации. При этом ресторан гостиницы, возбуждавший зависть большевиков, всегда был переполнен обедающими, не смотря на неимоверно дорогую цену – по сорока рублей за обед.

Большевизм поддерживался в Одессе и чрезмерным изобилием уголовного элемента… Ни в одном городе России не было такого количества «налетов», т. е. разбойничьих нападений днем и ночью, на улицах и в домах. Выходить вечером было опасно. Я не помню ни одного вечера без многих и частых выстрелов. Возвращаясь домой после встречи нового года, один мой знакомый насчитал свыше ста сорока выстрелов. Любителей пограбить было в Одессе исключительно много и все они, разумеется, с великим нетерпением ожидали прихода большевиков.

Не более отрадное впечатление производили и образованные классы населения. Il parait qu'ici le patriotisme n'est que l'apanage des classes cultivées de la société (По-видимому здесь патриотизм – свойство одних образованных классов общества.), сказал мне однажды Энно. Слова эти были не совсем справедливы только потому, что патриотизм в Одессе являлся достоянием отнюдь не всего образованного класса, а только некоторой его части. Нигде в России я не наблюдал большей деморализации, чем в Одессе.

Некоторое объяснение этого явления заключается в том, что Одесса скоре космополитический, чем русский город; в ней много греков и евреев. Я никогда не был иудофобом и не сочувствую современному стремлению изображать евреев, как единственных или даже главных виновников гибели России. Но с другой стороны было бы странно ожидать, чтобы еврейская интеллигенция могла стать носительницей русского патриотизма. Бывают, конечно, блестящие исключения из общего правила: русская еврейка, г-жа Энно, как я уже сказал, приятно поражала своим горячим русским патриотизмом и в этом смысле несомненно оказывала благотворное влияние на своего мужа. Из за нее он даже навлек на себя обвинение недоброжелателей из французов. О нем говорили, что он, женатый на русской, ведет не французскую политику. В этом заключалась одна из причин последующего удаления Энно из Одессы.

Но повторяю, это не правило, а исключение. Оно поражает тем более, что отсутствие патриотизма в Одессе вовсе не было особенностью одних евреев. Вспоминаю эпизод, ярко обрисовавший для меня местные русские левые настроения. Я готовился к поездке в Екатеринодар. Слухи об этой поездке каким то образом проникли в печать. Вдруг по этому поводу является ко мне депутация из трех лиц от одной из студенческих

организации. Все три депутата несомненно русские и по фамилиям, и по типам. Думаю, что русские были выбраны в депутацию не без умысла. Депутаты объяснили, что в университете объявлена мобилизация и просили походатайствовать перед генералом Деникиным, «чтобы мобилизация была не принудительная, а добровольная».

Завязался разговор. Я объяснил депутатам, что мобилизация по существу своему принудительная мера и что «добровольная мобилизация» вещь нигде в мире не осуществимая. Из объяснений их мне стало ясно, что они просят в сущности об отмене мобилизации и о замене ее набором добровольцев, но при этом несколько конфузятся, а потому не решаются называть вещи их именами.

Я откровенно высказал им, что привык понимать русскую молодежь, но их просто не понимаю. «Ведь вы же несомненно не большевики, сказал я, иначе бы вы ко мне не обращались; почему вы не хотите принять участие в борьбе за Россию прочив большевиков?» – «Профессор, отвечали они, мы не отказываемся от борьбы, но эта мобилизация классовая. Мобилизуются студенты, но не мобилизуются широкие демократические массы населения. Вот мы боимся попасть в неловкое положение по отношению к этим массам». – «Но ведь вы, господа, прекрасно знаете, что эти массы в Одессе насквозь большевицкие. Почему же вы их конфузитесь и не решаетесь от них отделиться? Я повторяю, что не понимаю вас». Тут мои собеседники окончательно смутились, стали было оправдываться, но вскоре ушли. Меня так и обдало от этой беседы типическим интеллигентским настроением.

Прежде всего демократия, потом уже Россия. Еще хорошо, если ее очередь приходит хотя бы после демократии. Чаще встречаются такие типы, которые молятся на демократию и совершенно забывают о России. Они *боятся* патриотизма, ко всякому патриотическому движению и чувству они подходят с вопросом: «а демократично ли оно», и при этом боязливо озираются налево. В этих слоях русского общества я чувствовал стихийную ненависть к добровольческой армии. Ненависть эта объясняется многими причинами, о которых я в свое время поговорю. Но из них главная – убеждение в том, что добровольческая армия «не демократична» и «реакционна».

Вообще вся интеллигенция в Одессе производила на меня впечатление чего-то насквозь гнилого и мертвенного. Отсутствие живой души и рабство перед заученными казенными формулами современного демократизма, вот наиболее выдающаяся и типическая черта этих людей. Встречал я среди них и людей

порядочных, которые «хотели быть патриотами». Но именно беспомощность этого искания путей к патриотизму и производила наиболее тягостное впечатление. Они слышали звон, но не знали, где он, были не прочь «полюбить Россию», но не знали, как это делается, и в особенности, как можно совместить эту любовь с «демократизмом».

Как раз в Одессе мне приходилось наблюдать этих людей на продолжительных и частых совещаниях буржуазных и социалистических организаций. Со стороны левых участвовали представители «Союза Возрождения» и «Симферопольского объединения земств и городов». С нашей стороны – представители Совета государственного объединения и «Национального центра». В числе левых были эсеры, эсдеки – меньшевики и народные социалисты. С нашей стороны были представители буржуазных партий разных оттенков – кадеты, бывшие прогрессисты, октябристы и даже один националист.

Интересен самый повод совещаний. Французы ставили непременным условием своей помощи соглашение буржуазных и социалистических групп. «Как мы можем помогать вам, говорили они, когда вы между собою не спелись». Требование это настойчиво повторялось еще в 1917-1918 г. в Москве. В Одессе об этом напоминал Энно, а нашим делегатам, съездившим в Яссы к генералу Бертело, говорили: „il faut que vous ayez une blouse d'ouvrier dans votre gouvernement, – il vous faut des noms socialistes“ (Нужно, чтобы в Вашем правительстве была рабочая блуза, Вам нужны социалистические имена.). Социалистам по-видимому тоже вменялось в обязанность объединиться с буржуями. Собственно прямого ультиматума в обращении к нам французов не было. Но мы прекрасно понимали, что требование объединения русских партий ставилось совершенно ультимативно по отношению к самим правительствам Франции и Англии. Им нужно было оправдывать свой образ действий перед их парламентами и отвечать на вопрос, который ставился ребром: кому вы собственно хотите помочь, русской буржуазии, русским социалистам или единой России? Мысль о помощи русской буржуазии возмущала всех социалистов в Англии и Франции. Мысль об односторонней помощи русским социалистам не могла нравиться английским и французским буржуазным партиям. Отсюда обращенное к нам повелительное требование, чтобы мы образовали «единый демократически фронт».

Было, к сожалению, слишком много оснований думать, что перед нами ставится задача неразрешимая. И, однако, для нас была безусловно обязательна хотя бы даже безнадежная попытка ее разрешения. Мы должны были иметь возможность сказать

союзникам, что с нашей стороны сделано все возможное, чтобы достигнуть соглашения и что не мы виноваты в том, что оно не могло состояться. С первых же шагов я почувствовал, что между нами и левыми есть пропасть, которая решительно ничем не может быть заполнена. Думаю, что то же чувствовали и левые. Тем не менее совещания продолжались, согласительные формулы вырабатывались, потому что ни та, ни другая сторона не хотела быть виновницей разрыва. И основная причина этого безнадежного расхождения – все та же: для нас целью, к которой мы стремились, была единая Россия, для них прежде всего «демократия» и единая Россия лишь «постольку-поскольку».

Главным предметом спора был вопрос о временном устройстве верховной власти впредь до окончания войны. Левые требовали директории из трех равноправных членов – одного военного (за такового они готовы были признать главнокомандующего вооруженными силами юга России) и двух гражданских. Напротив, первоначальная точка зрения Совета государственного объединения была чистая диктатура. Потом, чтобы не разрывать отношений, представители Совета пошли на компромисс, который, впрочем, мало изменял дело. Они согласились на вручение власти трехчленной коллегии с тем, чтобы военному ее члену были предоставлены, во первых, право единоличного назначения всех военных должностных лиц, а во вторых, исключительное право объявлять военное положение в тех местностях, где это окажется нужным. При этих условиях фактически командующий добровольческой армией мог оставаться диктатором во всех тех местностях, где для военных целей он признает это нужным.

Левые на это безусловно не согласились. Они потребовали, что бы как объявление военного положения, так и назначение всех корпусных командиров было предоставлено всем трем членам директории на равных правах. Тут то и обнаружилась роковая двойственность их точки зрения, уничтожавшая всякую возможность соглашения. Они как будто признавали добровольческую армию и в принципе изъявили готовность оказать ей поддержку. Но в то же время они обставляли эту поддержку такими условиями, который вносили бы в армию неизбежное разложение. Предоставить штатским людям право назначать корпусных командиров – значило просто на просто допускать вторжение политики в военное дело.

Понятно, что на этом переговоры были прерваны. Принцип директории, как его понимали левые, достаточно показал свою несостоятельность в Сибири. Там директория была в конце концов арестована и свергнута именно потому, что она

потворствовала преступной пропаганде в армии Чернова и его единомышленников. Для людей, признающих и любящих родину «постольку-поскольку», такой образ действий вполне естествен.

Была и комическая нотка в демократическом пафосе этих людей. Они относились к своему демократизму необыкновенно бережно, как к хрупкому сосуду, который может разбиться при сколько-нибудь неосторожном обращении, и облекали свое служение демократии в необыкновенно торжественные формы. Олицетворением этой торжественности являлся в особенности бывший городской голова Р., своей маленькой фигуркой, видимо, стремившийся походить на Шекспира и соответственно стригший бороду и волосы.

На самом деле у него было карикатурное сходство с теми бронзовыми статуэтками Шекспира, какие иногда украшают чернильницы, за что мы, члены Совета государственного объединения, прозвали его «шекспирчиком». Однажды во время перерыва «шекспирчик» стал мне доказывать необходимость сохранить полномочия за демократическими думами, выбранными при участии пришлых солдатских масс На мое возражение, что дума, избранная таким способом, не может считаться выразительницей воли населения, он отвечал, что эти демократические думы и земства – все таки факт, с которым нам придется считаться. «Но ведь и учредилка совершившейся факт, однако вы не настаиваете на сохранении ее полномочий», возразил я. Тут Р. вдруг попытался вырасти на аршин, принял величественный вид и отчеканил: «извините, я член учредительного собрания и не могу допустить, чтобы его в моем присутствии называли учредилкой».

Хотелось верить, что события русской революции кое чему научили этих людей. Напрасная мечта. Они уступали в некоторых частностях, например, в вопросе о вознаграждении за принудительное отчуждение земель, но сохраняли важнейший свой недостаток – полное отсутствие национального духа и государственного смысла. И это, не смотря на то, что они называли себя «государственно мыслящими социалистами». При этом вскоре обнаружилось, что удельный вес всех этих групп – эсеров, меньшевиков и народных социалистов равен нулю. Это были генералы без армии, которые вполне честно признавали, что «за ними массы не идут». Они годились только в декорацию для французов. Но когда нам стало ясно, что приобрести эту декорацию можно только ценою допущения разлагающих влияний на армию, Совет стал думать только о том, на каком вопросе удобнее и выгоднее прервать переговоры его об «общей платформе». По-видимому и левые думали о том же самом. Они

мечтали порвать с нами на аграрном вопросе, чтобы изобразить нас «буржуями и аграриями», неспособными поступиться ради народа классовыми выгодами. А наша забота заключилась в том, чтобы разоблачить их отношение к армии. В конце концов вышло по нашему: повод к разрыву был именно тот, которого мы хотели.

Если «демократы» в Одессе производили впечатление безнадежно больных, то я не могу сказать, чтобы и «государственно мыслящие» слои производили впечатление здоровья. Среди моих товарищей по Совету государственного объединения я наблюдал людей патриотически настроенных, которые искали во французской ориентации только спасения Росси, ибо были убеждены в полной невозможности для нее спастись собственными силами. Но патриотизм большинства собранной в Одессе буржуазии оставлял желать лучшего.

В конце концов почти все буржуазные общественные элементы, действовавшие раньше в Киеве, после вторжения в Киев Петлюры перекочевали в Одессу. Перекочевали и люди, и организации. Они возобновили свои бесконечные и бесплодные заседания. Перенеслась вместе с ними к сожалению и царившая в Киеве атмосфера буржуазной деморализации. Была, впрочем, существенная разница между этими людьми и левыми. Левые просто не любили или не умели любить Россию. В «буржуях» большею частью чувствовались люди, которые изверились или отчаялись в России, измалодушествовались и потому мечтали о пришествии варягов в каком бы то ни было виде; все равно в какой военной форме, лишь бы варяги навели порядок. «Ах, кабы хоть англичане пришли и нас поработили», говорили одни, «ведь лучше иноземное владычество, чем свой собственный большевизм», «нам одно спасение – здоровый иностранный кулак», говорили другие. И замечательно, что самыми пламенными сторонниками англо-французского кулака были вчерашние поклонники немецкой ориентации, те самые, которые годом раньше мечтали: ах, кабы Вильгельм пришел! Это было неожиданное превращение гетмановщины. Характерно, что наиболее рьяными сторонниками французской ориентации в Одессе явились «хлеборобы», т. е. та самая организация, которая, как известно, посадила в Киев гетмана. Особенно часто слышались малодушные разговоры среди бывших людей из крупных помещиков и больших сановников империи. История повторяется. В дни «смутного времени» также находились бояре, которые полагали, что лучше Владиславу присягать, «чем от своих холопов поругану и биту быти». Интернационализм справа был и в те дни тот же, что теперь, но только тогда он находил себе убежище не в немецкой или французской, а в польской

ориентации.

Неудивительно, что малодушное настроение сказывалось особенно часто среди беженцев, людей особенно настрадавшихся и приученных к мысли о ненадежности каждого местопребывания. С каждой переменой места количество их увеличивалось. В Киеве я застал часть «всего Петербурга» и часть «всей Москвы». В Одессу прибыли почти все те же лица плюс часть «всего Киева». По мере передвижения на юг увеличивалась теснота. Если в Киеве было трудно найти комнату, то в Одессе это было еще много труднее, и платили за комнату до трехсот и четырехсот рублей без отопления. Я почти все время моего пребывания в Одессе жил в одном небольшом номере Лондонской гостиницы с А.С. Хрипуновым и нам многие завидовали. Дороговизна была такая, что за один ночлег и еду приходилось тратить до 60 рублей в сутки, обедая в столовых третьего разряда и заменяя ужин колбасой да хлебом. Те же, кто, как я, жил в Лондонской гостинице, тратили на одну еду да кофе сто или более рублей. А при этом большинство беженцев было без денег.

Имея достаточный литературный заработок, я не терпел нужды, но имел денег, что называется, в обрез. Поэтому я с не малым удивлением спрашивал себя, откуда же добывают средства все остальные, то огромное большинство, которое не зарабатывает. А ведь живут люди при этом не хуже, а лучше меня. Есть и такие, что ни в чем себе не отказывают, платят за завтрак тридцать, за обед сорок рублей, да еще требуют вина и даже шампанского. Огромный ресторан Лондонской гостиницы, где я не позволял себе обедать, был всегда переполнен этими людьми, бывшими землевладельцами и богачами. Они просто не были в состоянии сократить свои привычки и жили мечтой о «здоровенном кулаке», который вернет им их имения, жили изо дня в день, стараясь не приподымать завесу будущего.

Мне становилось жутко на них глядя. Ведь в лучшем случае они запутываются в долги за ростовщические проценты. Доходили темные слухи о сомнительных спекуляциях, к которым, бывало, стараешься не прислушиваться, боясь поверить клевете. Рассказывали про человека с именем, зарабатывавшего большие деньги в качестве маркера в какой то биллиардной. В Киеве множество бывших офицеров служили в ресторане и подавали блюда немцам. Были случаи, когда офицеры добровольцы попадались среди «налетчиков». Все это вместе взятое производило кошмарное впечатление. Проходя через ресторан Лондонской гостиницы, куда я порой заходил, разыскивая знакомых, бывало, рисуешь себе этих обедающих в вид толпы нищих в будущем и невольно думаешь о том, сколько из них

окончат самоубийством. А потом идешь на «заседание», где развертываются все новые и новые стадии «французской ориентации».

Боже мой, какой кошмар эта французская ориентация. В нее поневоле загоняются люди, искренно и пламенно любящее свою родину, те, которые по совести не могут себе представить, как она возродится собственными силами. В нее с ликованием устремляются левые, для которых победа союзников – торжество всемирной демократии. К ней же приказываются совсем не демократические мечты о «здоровенном кулаке» и о возвращении благосостояния. Словом, в этой ориентации оказываются соседями и попутчиками люди, которые не переносят друг друга. Для тех, кто любит Россию, это становится в конце концов нравственно невозможным. Для здорового национального чувства интернационалисты слева и справа одинаково невыносимы.

Есть еще один невыносимый для русского чувства элемент – местные центробежные течения, которые тоже как то пристроились к французской ориентации, надеясь с ее помощью сделать карьеру за счет России. Петлюровцы с самого начала стали делать попытки, притом не безуспешные, втянуть французов в орбиту украйнской политики. Но кроме этих сепаратистов чистой воды были в Одессе и федералисты, мечтавшие при помощи французов создать в одесском районе полунезависимую государственную единицу с самостоятельным правительством во главе. С этой мечтой связывались и интересы местных финансовых тузов, рассчитывавших благодаря своей денежной силе влиять на местное правительство и с его помощью обделывать свои дела. Были и просто местные честолюбцы, которые мечтали попасть в министры.

Трудно поверить, сколько маленьких честолюбий пробудил федеративный строй, временно фактически осуществившийся в Кубани, на Дону и в Крыму. Казалось бы, трудно себе представить человека, который сияет от счастья, что он попал в какие-нибудь крымские министры. Между тем такие были. А в Одессе мы видели людей, которые завидовали участи этих министров и мечтали попасть в их положение. Такие честолюбцы увивались около французских властей, надеясь при их помощи поставить и провести свою кандидатуру на будущее министерские портфели. Такие типы проникли, к сожалению, и в среду нашего Совета государственного объединения. Оставаясь в нем в меньшинстве, они принесли однако его деятельности не мало вреда, ибо вносили в его жизнь противорчащий его сущности элемент федерализма и местной интриги.

VI. Французы в Одессе.

Центром тяготения всех только что охарактеризованных общественных элементов, за исключением большевицки настроенных масс, были, как сказано, французы. Я наблюдал в Одессе французских солдат, офицеров, командующего войсками генерала д'Ансельма, да консула Энно и в общем вынес впечатление чего то по существу двойственного, противоречивого.

Тут было желание помочь России и в то же время полное нежелание приносить для этого какие бы то ни было жертвы. Противоречивы были прежде всего газетные сообщения о намерениях французских властей. Одним и тем же министрам приписывались программные заявления о необходимости «борьбы до конца» против большевизма и в то же время лозунг «ни капли французской крови». Хотелось верить, что корень этого противоречия – неверные газетные сообщения. Но та же двойственность поражала и в разговорах тех французов, с которыми приходилось сталкиваться в Одессе.

Помню банкет, данный одесситами в честь союзников. На разных концах залы я слышал говор французских офицеров.

«Ну да, конечно, мы вам поможем восстановить порядок и освободиться от большевиков». Я подсел к столу, где говорились такие речи и начал усердно подливать в бокал офицеру-моряку. Когда вино развязало ему язык, он договорил свою мысль до конца. «Ну, да, конечно, мы вам поможем, но сражаться за вас мы не будем, это уже дело самих русских». И разговор сразу перешел на немцев. Тут я испытал тяжелое впечатление; мой собеседник захлебывался от злобы. «Вы не знаете, говорил он, что мы с ними сделали и что мы с ними еще сделаем. Пусть подохнуть с голода мерзавцы, мы их будем морить, мы сделаем так, чтобы они никогда не встали. Мы у них отняли сельско-хозяйственные машины, флот, локомотивы. Посмотрим, как они будут питаться. Того ли они заслужили».

В общем разговоры, которые я слышал, оставили во мне впечатление, что французы в гостях у русских стараются быть любезными и говорят без внутреннего убеждения пустые фразы о помощи нам, в которые сами не верят, но в душе у них нет места для России. Жажда отдыха и мысль о мести немцам – вот и все, чем они живут в данную минуту. Солдаты – те были еще откровеннее: «Чорт с ней, с Россией, говорили они, на кой чорт нас привели сюда и какое нам дело до большевиков. Эх, кабы большевики пришли в Одессу, тогда нас бы поскорее отсюда

убрали. Да здравствуют большевики, мы их не боимся, потому что мы сами рабочие». Таково общее содержание французского солдатского говора, который приходилось слышать русским на улицах. Благодаря нежеланию французов драться, большевицкая пропаганда находила среди них благодарную почву. И большевики не теряли времени, они составляли и распространяли прокламации массами. Меня всегда поражали умение и неутомимая энергия большевицкой пропаганды. В то же время наша пропаганда сводилась к нулю частью благодаря косности буржуазных организаций, частью благодаря препятствиям, какие он встречали в деле печатания своих брошюр. В январь 1919 года по поручению Совета государственного объединения я составил в несколько дней брошюру „Les bolcheviks et le bolchevisme“ («Большевики и большевизм».) для французских солдат и сдал в печать, а сам ухал в командировку в Екатеринодар. Когда спустя две недели я вернулся оттуда, рукопись еще не была набрана, так как лицо, которому было поручено это дело, таскало ее в кармане. Потом целых полтора месяца тянули набор несчастных тринадцати страничек. В конце концов брошюра была напечатана и начала распространяться лишь в марте 1919 года, всего за несколько дней до сдачи Одессы большевикам. Кроме косности и равнодушия своих тут повлияла и обструкция со стороны типографии, которая очевидно умышленно задерживала выход брошюры. Произведения большевицкие в то же самое время умножались чрезвычайно быстро.

Настроение войск отражалось на действиях властей. Энно часто и убедительно писал в Париж, требуя энергичного вмешательства в русские дела. Его русские друзья, в том числе и некоторые члены Совета государственного объединения, читали его донесения. И тем не менее французские войска в течение двух месяцев почти не прибывали и продолжающаяся блокада Петлюры чрезмерно вздувала цены на предметы первой необходимости. Положение становилось критическим, недовольство в населении росло и авторитет французов благодаря их бездействию падал все ниже и ниже. «Победители немцев» производили впечатление полного бессилия. Донесения Энно видимо не встречали сочувствия в Париже. В конце концов он утратил всякое влияние. В Одессу прибыл генерал д'Ансельм со своим начальником штаба Фреденбергом и с этой минуты значение Энно было сведено на нет. Руководящая роль в политике перешла к высшему военному командованию.

Поведение генерала д'Ансельма и его помощника было более чем странно. Генерал систематически отказывался принимать

депутации от русских политических организаций, отговариваясь тем, что он солдат и не вмешивается в политику. Но в то же время он тотчас по прибытии в Одессу принял местного начальника украйнских войск – генерала Грекова и начал с «петлюровцами» весьма двусмысленные переговоры. Переговоры эти с врагами единой России не могли не смутить русских общественных деятелей. Их смущение разделял Энно, который пожимал плечами и намекал на то, что новые руководители ничего не понимают в политике. Президиум Совета Государственного Объединения пытался вступать в объяснения с генералом д'Ансельмом, который произвел на нас впечатление человека невежественного и неумного.

В наших словах он не понимал самого главного: мы ставили ему на вид, что всякие разговоры с Петлюрой и его сторонниками нарушают верховенство добровольческой армии, единственной представительницы русской государственной власти на юге России. А он неизменно отвечал: «я солдат, в политику не вмешиваюсь и стою вне партий, а потому должен разговаривать со всеми. Если бы речь шла о Екатеринодаре, я обращался бы к генералу Деникину, который является хозяином в Екатеринодаре. Но на Украйне хозяин Петлюра: поэтому я должен обращаться к Петлюре». Смущение наше усиливалось тем, что начальник штаба д'Ансельма и главный вдохновитель его политики – полковник Фреденберг был человек несомненно умный. А его роль была боле, чем двусмысленна: покровительство украйнцам сочеталось у него с явно враждебным отношением к добровольческой армии. От представителей последней, в частности от одного из министров, я определенно слышал, что по данным контрразведки, Фреденберг подкуплен украйнцами. Впоследствии, когда Одесса была брошена французами, распространились слухи, будто д'Ансельм и Фреденберг получили за это миллионы от большевиков.

Своеобразное объяснение всей этой политики дал генерал Вертело, приезжавший на двое суток в Одессу. «Вы просто на просто большие дети», говорил он председателю нашего совета – барону В.В. Меллер-Закомельскому: «сами же вы просили меня заступиться за офицеров-добровольцев, взятых в плен петлюровцами. Скажите, как же я мог бы это сделать иначе, чем путем переговоров. Ведь войск у меня почти нет, да и те, которые есть налицо, ненадежны. Знайте, это не те, которые победили немцев». О своих войсках Вертело говорил вообще с величайшей откровенностью.

По его словам, лучшие войска в течение всей войны оставались во Франции. На салоникский фронт давались только

отбросы. И вот эти то люди, плохо дисциплинированные и чрезвычайно доступные большевистской пропаганде, были по окончании войны переброшены в Одессу. «Судите сами, что мне с ними делать. К апрелю ожидается прибытие внушительной цифры колониальных (цветных) войск. Прибудут французские добровольцы. Те и другие безусловно надежны, с ними можно будет предпринять решительные действия; но до их появления надо во что бы то ни стало тянуть время и избегать сражений. Могу вас заверить самым решительным образом, что я сторонник единой России и не признаю самостийной Украйны. Но силою вещей я до поры до времени вынужден разговаривать с самостийниками». Таков был общий смысл всех объяснений Бертело.

Положение французов было трагикомическое: победители немцев очутились в Одессе в положении осажденных и все таки не смели проливать ни капли французской крови. А в то же время голод вынуждал расширить зону французской оккупации. Волей неволей приходилось «изворачиваться». В конце концов зона была расширена безо всякого сопротивления: французы заняли Николаев, Херсон, Раздельную и ряд других пунктов. Очевидно, что между ними и петлюровцами состоялось на этот предмет какое-то соглашение.

Достигнуть его было не трудно, потому что сами петлюровцы находились в отчаянном положении. В беседе с Энно, их генерал Греков признавался откровенно, что из трех тысяч его солдат, расположенных по близости от Одессы, не боле 20% надежны, остальные «бандиты». Петлюровцы повсеместно разлагались, а в то же время на них наседали большевики. Немудрено, что они шли на все условия, лишь бы заручиться добрым расположением французов.

В конце концов в Одессе получилось невероятно нелепое положение. Обреченное на гибель «украйнское» движение Петлюры хваталось за французов, как за последний якорь спасения. А в то же время французское командование, верное своему девизу, «ни капли французской крови», рассчитывало сражаться против большевиков украйнскими войсками Петлюры. Вместе с тем создавались совершенно невозможные отношения между французским командованием и добровольческой армией. Петлюровцы, с которыми французы вели переговоры, были ее отъявленными врагами. В Киеве вся борьба добровольцев против Петлюры велась в расчет на помощь французов, причем надежда на прибытие этой помощи поддерживалась французскими властями. Взятие Одессы добровольцами состоялось в силу прямого приказания французского командования. При этом

петлюровцы обращались с пленными добровольцами с варварской жестокостью: многих добровольческих офицеров они расстреляли, в том числе доблестного генерала графа Келлера, а некоторых даже пытали. Поэтому соглашение французов с петлюровцами не могло не произвести на добровольческую армию самого тяжелого впечатления. Невольно возникал вопрос, что это – наивность, легкомыслие, или сознательная измена России. На все вопросы но этому поводу французское командование неизменно отвечало: «потерпите, нам нужно протянуть время до получения подкрепления».

И подкрепления начали прибывать. Появились не только цветные (колониальные) французские войска: в феврале и марте стали прибывать в Одессу греки: их было там высажено до двух дивизий. В конце концов, в Одессе и ее окрестностях скопилось свыше пятидесяти тысяч союзных греческих и французских войск. Этого было более, чем достаточно, чтобы предпринять энергичное наступление против слабых большевистских сил, двигавшихся на Одессу. Вместо того произошло как раз обратное. Французы, единственно благодаря нежеланию сражаться, были вытеснены большевиками из Николаева и Херсона. А при деревне Березовке на их долю выпало неслыханное посрамление: две тысячи французов с танками были обращены в паническое бегство несколькими сотнями большевиков; пять танков остались в руках неприятеля.

В довершение посрамления, горсти добровольцев удалось отогнать большевиков и привести в негодность танки; вывезти их оказалось невозможным и в конце концов они так и остались за большевиками. «Что вы хотите делать, – произошла паника», – говорил потом об этом постыдном деле д'Ансельм. «Знаете ли вы откуда вам ожидать возрождения России», объяснял он одному из членов Совета Государственного Объединения – «от большевистских войск; да, не удивляйтесь, от большевистских войск! О, это настоящие наполеоновские войска, бесстрашные в бою; представьте себе, они лезут на танки и умирают».

А мы прекрасно знали, что эти «наполеоновские войска» на две трети состоять из сволочи, что добровольцы неизменно бьют их, когда находятся с ними в численном отношении одного против трех. Греческие войска, которые в общем производили прекрасное впечатление, были возмущены поведением французов. Офицеры-греки заявляли, что была полная возможность защитить Херсон и Николаев, и что они не отдали бы этих городов большевикам, если бы не прямое приказание французского командования.

Все загадочное в поведении французов становится ясным для

того, кто видел и наблюдал французские войска в Одессе. Профессор П.И. Новгородцев, садившийся на пароход в момент эвакуации французами Одессы, сообщал мне, что французские солдаты, которые садились одновременно с ним на транспорт, бросали винтовки в воду. В те же дни среди самих начальствующих лиц слышались явно большевистские речи. Хорошо знакомый мне русский беженец – человек безусловно правдивый, рассказывал мне свой разговор с французским военным врачом в момент эвакуации. «Вам не нравится большевизм, – говорил ему врач, большевизм несомненно выражает волю большинства; да будет же воля народа!»

Одни ли одесские войска французов были в таком плачевном состоянии? Конечно, нет. Члены Совета Государственного Объединения, Шебеко и Гурко, приехавшие в Одессу из Парижа, – один в начале, другой в конце марта, сообщали нам, что, по единодушному отзыву всех наблюдавших французские войска в самой Франции, их воодушевление сейчас же по заключении перемирия сменилось полной прострацией и упадком духа. Нет той силы в мире, которая могла бы заставить эти войска возобновить военные действия: они утратили всякую боевую способность; возникали даже сомнения в возможности заставить их воевать с немцами в том случае, если конференции не удастся заключить мир. В этом главная причина того, что, несмотря на победу и разоружение немцев, германская опасность все еще считается неустраненною.

Дальнейшее развитие событий понятно, несмотря на кажущуюся их парадоксальность. И Шебеко, и Гурко засвидетельствовали нам, что во Франции в конце зимы произошел полный переворот общественного мнения в нашу пользу. Страх перед будущим возрождением Германии заставляет французов мечтать о восстановлении единой, великой и могущественной России. Другие союзники не внушают доверия французским государственным деятелям: они убеждены, что англичане и американцы вскоре уйдут, оставив Францию лицом к лицу с Германией. При этих условиях возрождение России для французов – вопрос жизни и смерти. Бросить Россию на произвол судьбы для французов значит самим наложить на себя руки.

И, однако, вопреки предсказаниям Шебеко и Гурко, самоубийство совершилось. Попытка французов помочь России – закончилась позорным бегством их из Одессы. Они отдали на съедение большевикам тысячи людей, которые были привлечены в Одессу исключительно их обещанием покровительства; они обнажили фланг добровольческой армии, поставив ее тем самым в критическое положение.

Как и почему это случилось? Возможно, что в слухах о взятках было нечто истинное. Возможно, что в Париже оказали некоторое влияние агитация и в особенности подкупы большевиков. Но было бы в высшей степени поверхностно объяснять одними взятками и подкупами события, столь роковые для Франции. Если в данном случае она поступилась своим жизненным интересом, – ясно, что это вынуждалось необходимостью. Оставаться в Одессе и в Крыму после бегства французских войск в Николаеве и Березовке – было для них просто невозможно. Попытка бороться против большевиков могла бы привести к роковому концу: французские солдаты, вследствие пропаганды и нежелания драться, могли бы сами в свою очередь перейти на сторону большевиков. В минуту, когда их эвакуировали, они были уже не защитниками, а скорее источником внутренней опасности для Одессы.

Многие задавались вопросами, почему, удаляясь из Одессы, французы не оставили там греков и добровольцев? Вопрос этот ставился в особенности греками, которые были в высшей степени недовольны одесскими событиями. Я уже говорил о том, что греческое командование было полно наилучших намерений по отношению к нам. Греческие офицеры часто говорили о том, сколь многим их родина обязана России. Можно догадываться, что ценою этой вооруженной помощи Греция хотела заручиться в будущем поддержкой России против своего всегдашнего соперника – Болгарии. Помощь эта в данную минуту могла оказаться весьма существенною: соединенных сил греков и добровольцев было вполне достаточно, чтобы положить конец всяким попыткам большевиков завладеть Одессою. Но оставлять в Одессе греков и уходить оттуда самим – для французов значило бы обнажать свой национальный позор. Этим бы они показали, что оставление Одессы вызывается не общими для всех союзников соображениями мудрости, а состоянием одних французских войск. Нечего удивляться тому, что французы на это не решились.

Так или иначе французы нам изменили. Но всего замечательнее, что в конечном счете эта измена оказалась катастрофой для Франции, а не для России.

VII. Русская ориентация.

Тут мы имеем дело с своего рода историческим чудом. После поражения Германии французская ориентация казалась последней ставкой России, единственной ее надеждой на спасение. А между тем именно в тот день, когда эта надежда рухнула, спасение оказалось близким и доступным. Оно явилось вопреки всем соображениям рассудка именно там, где его не ждали. Несколько месяцев тому назад восстановление России ее собственными средствами представлялось из всех выходов самым невероятным, немыслимым; между тем оно то и оказалось единственно возможным.

Ошибка сторонников иностранных ориентаций была естественна. С одной стороны распавшаяся на части Россия действительно казалась мертвым телом: в особенности на Украйне и в Одессе почти все, что мы видели, производило впечатление мертвого, а не живого; зловещие признаки тления замечались во всех общественных слоях – в народных массах, в социалистических партиях и в буржуазии. Порою казалось, что во всем этом общественном теле, которое мы наблюдали, нет ни одной живой ткани: все гниет и разрушается. А рядом с этим, как не поверить в непобедимую мощь европейских и тех американских армий, которые сокрушили Германию!

Рассуждение сторонников союзнической ориентации казалось неопровержимым и однако оно было опровергнуто жизнью. События и на этот раз доказали полную несостоятельность всех материалистических расчетов.

Сторонники союзнической ориентации слишком верили в материальную мощь тех иностранных армий, который они звали на помощь. Напрасная мечта: во-первых, если бы Россия действительно была мертвым телом, как это казалось многим, никакая вещественная сила извне не могла бы сделать мертвое живым… Во-вторых, на примере французов мы могли бы лишний раз убедиться, что сила и слабость армии зависит прежде всего от причин духовных. Те французские войска, которые бежали перед большевистскими бандами, представляли собой не живую силу, так же как русская армия в дни революции: это было тело без духа.

Наконец, в третьих, самая важная ошибка сторонников союзнической ориентаций заключалась в том, что они видели в России только мертвое и не замечали живого. А между тем живое сказалось в движении Колчака и, быть может, еще более в ошеломляющих успехах добровольческой армии. Откуда взялись

эти живые силы, когда решительно все слои русского общества казались насквозь гнилыми. Единственно верный ответ на этот вопрос в наши дни может показаться невразумительным: наш материалистический век верит только в значение количества и в силу масс, между тем, бывают эпохи в истории, когда народы спасаются подвигом немногих личностей, – тех «семи праведников», которых не оказалось в наличности в дни гибели Содома. Так бывает всегда в дни упадка духа народного. Когда они наступают, – все кажется мертвым, все погружается в какой-то летаргический сон: тогда биение пульса народного чувствуется уже не в массах, а только в отдельных героических личностях. Но доколе есть такие личности, есть и та живая сила, которая воскрешает народы. Эти немногие избранные – та малая закваска, которая квасит все тесто.

Я не преувеличиваю. Была эпоха в истории, когда казалось, наступила гибель Франции: она жила в одной только Жанне д'Арк; но и этого оказалось достаточным для спасения нации. Явилась та сила, которая горы передвигает. Она поверила и заставила других поверить: вокруг нее собрался тот героический круг, который спас Францию. В истории России такие случаи повторялись не раз. В четырнадцатом веке все трепетало перед татарами, все лежало ниц, – никто не думал о сопротивлении. Но Россия, казавшаяся мертвою, жила в св. Сергии и вот из его келии раздался тот дерзновенный призыв, который вдохнул мужество в войска Дмитрия Донского: «иди смело на безбожников и победишь». Позднее, в дни смутного времени кто были носители русского народного самосознания и народной жизни? Гермоген, Козьма Минин, Князь Пожарский и обчелся. В такие времена все то, что еще заслуживает название «народа», сводится к немногим героическим личностям и к их окружению.

Все то, что остается вне этого героического круга – не народ, а сброд. Но героический круг имеет способность беспредельно расширяться, он таит в себе ту силу воодушевления, которая в конце концов заражает массы. Бескорыстное воодушевление создает первоначальное, основное ядро возрождающейся жизни народа. Потом, когда подвигом самоотвержения и веры ядро это становится силой, к нему примыкают и материальные интересы… – Искатели выгод всегда идут за силой, но первоначальный источник силы народной – не выгода, а подвиг веры, дерзновение и самоотвержение.

В дни упадка народного всякий думает о себе, все ищут только собственного спасения и эгоистической выгоды, все забывают о целом и малодушествуют. В такие времена народы спасаются не хитроумными политическими комбинациями, не

холодным расчетом государственной мудрости, а единственно самоотвержением тех немногих, которые отдают себя в жертву за свой народ. Оно и понятно: началом разложения общественного всегда и везде служит корысть, – забвение народного целого ради выгод личных и классовых. Есть только одна сила в мире, которая может победить это настроение: это жертва, высший подвиг бескорыстия. Спасение народа всецело зависит от того, найдутся ли в его среде люди способные ее принести.

Слава Богу, в современной нам России такие люди нашлись. За все время моих странствований по России у меня была в особенности одна точка опоры, которая спасала меня от отчаяния. В минуты тяжких сомнений и уныния мне вспоминался заточенный в Москве патриарх Тихон, и мысль о нем давала душе какое то неизъяснимое успокоение и легкость духа: достоверность спасения России – вот что чувствовалось мне в эти минуты. Чувство это являлось само собою, интуитивно, мгновенно, упреждая мысли. Потом я размышлял, стараясь понять в чем дело. Мне вспоминались слова святителя, когда его предупреждали об опасности, грозившей его жизни: «умереть, ну, так что же такое, я на это готов хоть сейчас; вот если мучить начнут, это неприятно, но и на это придется пойти» и мысль о смерти ни на минуту не нарушала его настроения, всегда светлого и радостного. Из частных бесед с патриархом я неизменно выносил впечатление, что он обрек себя в жертву за Россию. Притом он был неизменно светел и спокоен и всем обликом своим напоминал слова апостола: всегда радуйтесь (I Фесс. X 16).

В этих двух чертах – готовности отдать себя в жертву и светлой радости, с какой это делалось, была полная внутренняя победа над большевизмом: победа не индивидуальная, не личная только, а общая, народная, ибо патриарх – яркий выразитель могучего русского религиозного движения – «плоть от плоти и кость от кости» собора его избравшего. Эта решимость положить душу за православный народ есть высшее выражение духовной жизни всей русской церкви, ее молитв и ее настроения. Патриарх не один несет на себе тяжкий крест за Россию. Есть много других известных и неизвестных подвижников уже принявших за нее венец мученический. И в этом достоверность спасения православной России. Все попытки большевиков пошатнуть русскую церковь, разорвать ее духовное единство, привели только к ее возрождению и укреплению.

Этим, однако, разрешаются далеко не всё мучительные вопросы и сомнения. Спасение церкви и государства не одно и то же. Духовное спасение народа может повлечь за собою

возрождение его государственности, но оно может совершиться и через полное крушение мирского порядка. Который из этих двух путей сужден России? Есть ли у нас основание надеяться на спасение русского государства?

Для этого недостаточно одного возрождения церкви: нужно кроме того еще и веяние духа жизни в мирской сфере. В былые времена, в дни великих бурь и потрясений разрушенное мирское строение России восстановлялось подвигом монаха и воина. Так было в дни Куликовской, так же было и в дни первой великой смуты. Есть в современной России продолжатели святого Сергия и патриарха Гермогена. Найдутся ли в ней преемники Дмитрия Донского и Минина?

Ответ дается за нас событиями. Завоеван Северный Кавказ, освобождено Войско Донское. В минуту, когда я пишу эти строки, большевики на юге разбиты на голову; добровольческая армия подступает к Царицыну и его взятие – вопрос немногих дней. Как и почему это совершилось? Не политические расчеты, а духовный подъем сподвижников и продолжателей Корнилова, Маркова и Алексеева совершил это великое дело. Год тому назад среди нашего российского Содома нашлось три тысячи праведников, которые решили положить душу за Россию и предприняли безумный, казалось, поход против десятков тысяч большевиков. И вот вокруг этого небольшого ядра героев собрались теперь силы, которых оказалось достаточно, чтобы разгромить одну за другой ряд могущественных большевицких армий.

Совершилось то, что казалось невозможным. Помнится, год слишком тому назад, когда до Москвы донеслась весть об уходе из Ростова на Кубань трех тысяч добровольцев, их дело считалось безнадежно проигранным; они казались обреченными на неизбежную гибель, но случилось беспримерное, неслыханное в истории. У них не было оружия, им приходилось сражаться против прекрасно вооруженного врага. И вот они почти голыми руками отняли у него оружие, артиллерию, снаряды, броневики, бронированные поезда, вооружились сами и вооружили многие другие тысячи, которые за ними последовали, когда им улыбнулось военное счастье; это была победа духа над материей, одна из самых чудесных побед, какие когда либо были одержаны.

В этой борьбе обнаружилось, до какой степени невозможно построить общество на зыбкой почве экономических интересов. Большевицкий коммунизм несомненно находится в полном противоречии с экономическими интересами казаков кубанских и донских. Большевики могли только уменьшить, а отнюдь не увеличить их богатые земельные наделы. И однако, те и другие прошли через большевизм. Часть донских казаков все время вела

по отношению к нему двойственную политику: они то восставали против большевиков, то снова переходили на их сторону, изменяя своим.

Это вполне понятно: человек, который руководствуется в своих действиях одними интересами, всегда может быть чем-нибудь куплен, а потому ненадежен для общего дела. Во первых, людям свойственны ошибки в расчете, в особенности темные массы не всегда ясно понимают, где их интересы. В частности казаки, прельщенные посулами демагогов, не сразу поняли, что большевики будут за их счет наделять иногороднее население, и рассчитывали с их помощью обделать свои дела. Во вторых, как бы человек ни дорожил своими экономическими интересами, жизнь все таки ему дороже. Этим объясняется тот факт, что в дни междоусобных войн люди нередко становятся на сторону сильнейшего, хотя бы его торжество и противоречило их экономическим выгодам: корысть в данном случае побеждается страхом. Всем понятно поведение казаков в дни смутного времени. Их симпатии менялись в зависимости от перемен военного счастия: они решительно стали на сторону Минина и Пожарского лишь в тот день, когда им стало ясно, что победа склоняется в пользу нижегородского ополчения. То же мы видим и теперь. Ведь были же люди среди донцов, которые становились то на сторону добровольческой армии, то на сторону большевиков, в зависимости от того, как в каждую данную минуту они учитывали свою выгоду и силу обоих противников.

Всякая сила, раз она существует, привлекает на свою сторону великое множество интересов, но в социальных отношениях интерес никогда не бывает первоисточником общественной силы. Таким первоисточником являются всегда бескорыстные побуждения. Чтобы национальное единство было крепким, необходимо, чтобы было ядро людей, готовых жертвовать всем для родины и не задающихся вопросом, выгодно или невыгодно быть патриотом. К счастью для России вокруг Алексеева, Корнилова и Маркова собралось такое ядро; и когда оно стало силою, оно привлекло на свою сторону всех заинтересованных в низвержении большевицкого ига, в особенности мелких собственников, казаков, крестьян, исстрадавшихся под большевицким владычеством и насильственно-мобилизованных красноармейцев. В дни побед добровольческой армии на Северном Кавказе и позднее – в царицынском направлении, наблюдалось поучительное явление, ярко освещающее роль интереса в междоусобных войнах. В обоих случаях в начали военных действий численный перевес был на сторон большевиков. Но под влиянием первых успехов добровольцев к

ним перебегали массами красноармейцы и тотчас становились в строй. В обоих случаях преследующая армия увеличивалась за счет побежденного на десятки тысяч. Этим наглядно объясняется тот факт, что три тысячи добровольцев могли разрастись в могущественную армию. Я не отрицаю огромного значения экономического интереса в междоусобных войнах, но в последней, высшей инстанции миром правят не интересы, а идеи.

VIII. Добровольческая армия.

К сожалению, мне не пришлось наблюдать добровольческую армию в первый героический период ее существования, т. е. в те дни, когда она была только небольшим отрядом и совершала наиболее трудный свой подвиг. Я познакомился с ней в то время, когда она уже разрослась в настоящую армию – зимою 1918-1919 года. Разрастаясь, она утратила свою первоначальную цельность. Она была уже не горстью героев, а сравнительно многочисленным, а потому и смешанным телом. В нее вступали уже не только по призванию, но и ради того, чтобы получить хоть скудные средства к существованию. В сущности она уже перестала быть «добровольческой» армией потому, что она комплектовалась не путем вербовки, а посредством набора.

Словом, из начинания героического она превращалась в большую государственную организацию. Этот переход совершался далеко не во всем удачно. Она должна была так или иначе вступить в компромисс с разнообразными общественными интересами, которые она пыталась привлечь на свою сторону. В ее состав вошли всевозможные общественные элементы, а потому в ней так или иначе отразились всякие недостатки и даже пороки современной русской действительности второго смутного времени. Неудивительно, что в общем она производила пестрое впечатление, в одних отношениях хорошее, а в других – среднее, в третьих – плохое.

Когда вместо вербовки добровольцев или же параллельно с вербовкою она стала прибегать к набору, оказалась масса уклоняющихся от воинской повинности. Благодаря расстройству государственного аппарата уклоняться было сравнительно легко. А из попавших на военную службу далеко не все попадали на фронт. С этой целью многие околачивались около штабов; в тылу армии изобретались всякие фиктивные должности с целью избавить офицеров от службы на фронте. В Киеве, напр., при двух тысячах воюющих против Петлюры насчитывалось свыше двух десятков организаций, занимавшихся вербовкою, и в каждой организации работали офицеры. К удивленно моему по приезде в Екатеринодар я узнал, что «околачивающееся около штабов» существуют и там.

Но это был еще наименьший из всех недостатков. Как сказано, меня поражала та ненависть, которая окружала добровольческую армию во всех местах, где приходилось ее наблюдать: в Киеве, в Одессе, в Крыму, в Новороссийске, в Екатеринодаре. Не скажу, чтобы ненависть была всеобщей: у

добровольческой армии были пламенные сторонники, но в общем она была непопулярной. И значительная часть вины падает на добровольческую армию. Нечего удивляться тому, что ее ненавидели левые, которые считали ее организацией «контрреволюционной». У нее было много недоброжелателей из буржуазных и в особенности зажиточных слоев населения. Тут уже приходится, что называется, делить «грех пополам».

Конечно, в упреках которые делались этими людьми добровольцам, была черная неблагодарность, было забвение подлинных великих заслуг. В общем всегда тяжело слушать ожесточенные нападки людей, ничего не делающих, для России против тех, которые за нее умирают и действительно спасают ее своим подвигом. Но еще тяжелее было убеждаться, что многие из этим, упреков обоснованы.

В Одессе мне много приходилось слышать про дикий разгул добровольцев, про их картеж, кутежи, да пьяные оргии. Их начальник генерал Гришин-Алмазов признавал во многом справедливость этих упреков и заявлял, что для подавления бесчинств требуются энергические и строгие меры вплоть до расстрелов. Собственно эти бесчинства в военное время всегда составляли и составляют темную сторону военной жизни в тылу армии. Героизм проявляется на фронте. А в тылу находятся частью укрывающиеся, частью отдыхающие от военных трудов и опасностей. Эти последние вознаграждают себя разгулом в тылу за перенесенные на фронте лишения. Опять таки мы имеем здесь явление сопровождающее решительно все войны: едва ли можно судить за это слишком строго.

К сожалению с этим разгулом сочетается иногда и отталкивающий оттенок высокомерия по отношению ко всем недобровольцам. Помню сценку на пароходе, шедшем из Новороссийска в Одессу. В виду переполнения парохода приходилось обедать и ужинать в две очереди. И вот на моих глазах группа офицеров, не попавшая в первую очередь к ужину и уже подгулявшая, шумела и волновалась. «К чорту штатских, кричал один из них, вышвырнуть их всех вон и посадить на их место офицеров». К счастью на этот раз предложение буяна сочувствия не встретило, но с разных сторон приходилось слышать, что иногда кончается менее благополучно: «ведут себя как большевики, прогоняют пассажиров из вагонов, с плацкартных диванов и садятся на их места». Проверить правдивость этого утверждения я не мог. Но, по-видимому, нет дыма без огня.

Уж больно часто приходилось слышать, что добровольцы «ведут себя, как большевики, словно весь мир только для них и

существует»… Были у меня и другие наблюдения по части разгула. На том же пароходе от Новороссийска до Одессы шла в течение почти трех суток азартная карточная игра; она продолжалась целую ночь уже по прибытии в Одессу. Один из трех офицеров добровольцев, ехавших со мною в моей каюте, принимал в ней весьма оживленное участие. В последнюю ночь он совсем не ложился и вернулся к нам в каюту лишь в восемь часов утра. Притворно весело посвистывая и видимо храбрясь, он рассказал нам, что ему не повезло в эту ночь: «продулся, спустил полторы тысячи». Я был испуган этой развязностью, так как знал, что в это время офицеры получали ничтожное вознаграждение: 250 – 300 рублей, т. е. гроши при тогдашних ценах. «Как бы он не застрелился», выразил я мое смущение, когда он вышел. Но прочие попутчики офицеры только рассмеялись: «как, чтобы этот застрелился, да у него за пазухой по меньшей мере полтора десятка тысяч рублей. Ведь он прямо с фронта. Бои, как знаете, были успешные, а он командовал самостоятельной частью; сколько же он с мертвых большевиков-то набрал».

Этот небольшой разговор вдруг разом осветил мне всю оборотную сторону медали. Ничтожные, нищенские оклады при естественной наклонности молодых офицеров к разгулу. Как не понять весь ужас тех искушений, которые создаются на этой почве. Тут есть величайшая ошибка командования добровольческой армии. Как раз перед описанной сценкой на пароходе мне и другому депутату совета государственного объединения, С.И. Маслову, пришлось докладывать генералу Деникину о необходимости повышения окладов офицерам.

Мы указывали на случаи в Одессе, когда среди налетчиков попадались офицеры-добровольцы. Но Деникин в этом случае проявил непонятное упорство, обнаружившее неумение перейти от героического масштаба к государственному. В дни героического периода добровольческая армия располагала грошами. И Деникин, редкой честности человек, был помешан на бережливости. Впоследствии, когда деньги стали печататься в Ростове, он все еще совершенно не считался с теми средствами, какие давал ему печатный станок. «Да откуда же я возьму средств для такого колоссального бюджета», волновался он. В виде компромисса он соглашался на некоторые прибавки на дороговизну – различные для различных мест, но по тону беседы было не трудно предвидеть (что и случилось в действительности), что прибавки будут недостаточны и заставят себя долго ждать. «Нет, извините», сказал он в заключение, «денег с них довольно, что мне их баловать. Вот с мертвых большевиков брать – это ихнее законное право, пускай себе берут». И Деникин вдруг как то

странно улыбнулся.

Я даже не сразу понял, до того я был далек в то время от предположений, которые оказались действительностью. Помнится, обирание неприятельских трупов на войне в былое время, всегда считалось мародерством и строго преследовалось. Но война гражданская научила другому. В дни героического своего периода добровольческая армия и в самом деле не имела других средств существования, кроме военной добычи. Она все получала от большевиков и оружие, и припасы, и деньги, даже одежду. Обирание трупов, до раздевания включительно, было необходимостью и поневоле вошло в норму, так как иначе добровольцы остались бы не только без хлеба, но и без сапог, и без платья. Но к сожалению этот естественный для героического периода добровольческой армии обычай перешел в ее государственный период. Тут неумение добровольческого командования приспособиться к новым условиям сказалось в полной силе. В те дни, когда добровольческая армия располагала печатным станком, фабриковавшим донские деньги, обычай этот мог и должен был бы быть выведен, конечно, при непременном условии повышения окладов. Правда, печатный станок не поспевал за разраставшимися потребностями. Ощущался хронический недостаток в денежных знаках. Но почему же добровольческое командование и его правительственный орган —«особое совещание» не позаботились о приобретении новых станков? Ведь помимо всего прочего, печатание кредиток в возможно большом числе было мощным оружием в борьбе против большевиков, которые этим путем добывали свои главные и основные денежные средства. Тут была какая то непонятная косность, непростительная в особенности потому, что она служила источником деморализации. Обирание трупов большевиков приобрело характер своеобразного спорта. Мне приходилось слышать от добровольцев, что дни, непосредственно следующие за сроком получения жалования красноармейцами, были любимыми днями атак добровольческой армии. Война становилась чем то вроде охоты за пушным зверем (Строки эти были уже пописаны, когда я услышал интересную беседу в вагоне. Генерал горячился и доказывал невозможность аннулировать платежную силу керенок. «Помилуйте, – говорил он, – ведь этак мы уничтожим всю лихость атак, сколькие живут надеждой снять керенки с трупа».).

Было на этой войне и худшее, чем обирание трупов. В Одессе и в Крыму мне приходилось слышать частые жалобы на грабежи, в которых принимали участие не только казаки, но и целые добровольческие части. В Одессе хлеборобы именно этим

объясняли свое недоверие и недовольство добровольческой армией: в их среде говорили о форменном разграблении целой помещичьей усадьбы добровольцами. Из Крыма доносились такие же вести. К сожалению, они подтверждались рассказами многих офицеров добровольцев. Вот что мне пришлось слышать от них по этому поводу.

Независимо от того, что до весны 1919 года оклады добровольцам выдавались нищенское (крупное увеличение последовало лишь в апреле 1919 года), выдача во многих частях запаздывала так, что приходилось сидеть по три-четыре месяца без гроша. При этом интендантство не было налажено и казенный стол периодически отсутствовал: без денег сидели не только отдельные офицеры, но и целые части, так что покупать съестные припасы было не на что. «Не умирать же нам с голоду», говорили офицеры, «вот мы и посылаем солдат реквизнуть в соседнем складе свинью либо барана; платить было нечем, а выдавать реквизиционные квитанции было нельзя, так как реквизировать официально можно было только через особые реквизиционные комиссии. Где ее искать эту комиссию, когда она далеко, а есть нечего». Трудно себе представить, до чего может довести «необходимость» в дни междоусобной войны и всеобщего стихийного беспорядка. К тому же и соблазн велик. «Реквизицией» свиньи или барана во время голодовок довольствовались лишь сравнительно скромные. По словам офицеров добровольцев, были целые части, очень доблестные и отважные в бою, но усвоившие себе форменные грабительские приемы. Они «реквизировали» все, что попало, белье, обувь, драгоценности и даже деньги.

«Совершенные большевики», говорили о добровольцах их обвинители. А это было несправедливо по отношение к добровольческой армии в ее целом, но по отношению к отдельным лицам и частям в этой характеристике было большая доля правды. Неудивительно, что в добровольческой армии сложился двойственный тир героя и в то же время грабителя, сильно напоминающего средневековье. Средневековый воин совмещал в себе те же качества – разбойника и рыцаря. Такие типы неизбежно зарождаются и развиваются на почве хронического междоусобия. В истории добровольческой армии они сыграли видную роль. Судя по доходящим со всех сторон добровольческим рассказам, таков по-видимому, и знаменитый генерал Х, одно имя которого наводить панический ужас на большевиков. С одной стороны, благодаря совершенно исключительной отваге и лихости он стал легендарным героем, а с другой стороны, добровольцы говорят о нем, что он «возами

вывозил с фронта награбленное имущество», что он даже увлекает подчиненные ему войска на подвиги разрешением грабить, не делая строгого различия между врагами и мирным населением. «Совершенно нельзя себе представить Х-ва в условиях мирного времени», говорили мне, «в мирное время это будет уголовный тип, он несомненно кончит судом и каторгой, но для войны с большевиками ему цены нет».

Есть и другая опять таки средневековая черта, которая на почве междоусобия заражает не только большевиков, но и добровольцев, – это жестокость. В этом отношении война междоусобная много превосходила всякие другие войны. Большевики не берут в плен офицеров, а добровольцы стали брать в плен сравнительно недавно, когда выяснилось, что этим способом можно побудить к сдаче массу насильственно мобилизованных. – «Коммунисты», взятые в плен, «сейчас расстреливаются».

С обеих сторон есть специалисты и любители этого дела. Мне называли имена двух выдающихся в этом отношении типов – девицы большевички и офицера-добровольца. Большевичка медленно расстреливала офицеров из монте-кристо, пулька за пулькой, а офицер доброволец, расстреливавший сотни, иногда до расстрела пил чай со своей жертвой. В основе этого спорта – жажда мести: несчастный мстил большевикам, которые на его глазах надругались над его невестой.

Такие типы, разумеется, составляют исключение, но в общем какие опустошения производит междоусобная война в человеческой душе! Сколько молодых людей, выбитых из колеи, бросивших учение, утративших всякую способность к каким либо мирным занятиям; их привлекала со школьной скамьи на службу жажда подвигов. Многие из них и в самом деле горят священным огнем и готовы отдать душу за Россию. Но возвращение к условиям мирной жизни и в особенности к учению рисуется им в виде тяжкого кошмара: мало того, оно для них просто невозможно!

Указанные недостатки и пороки объясняют ряд отрицательных суждений о добровольческой армии и ряд разочарований в ее собственной среде. От чистых и горевших священным огнем молодых офицеров мне приходилось слышать, что добровольческая армия недостойна и неспособна победить. Люди, наблюдавшие ее со стороны, приходили в ужас от «деморализации» и «разложения»; они говорили, что заслуги ее все в прошлом, что она пережила себя. А между тем, события блистательно опровергли все эти толки. Как и почему это случилось?

Мне кажется, что в добровольческой армии надо различать ее середину, которая по существу здорова, и ее периферию, где имеются всякие болезненные наросты. Помнится, Деникин как-то раз выразился при мне о своих войсках – «у меня дисциплина, хоть и не такая, какая была в доброе старое время, но все таки дисциплина: умирать не отказываются». Я не сразу понял, чем же дисциплина другая, чем в прежней армии, но офицер-доброволец ответил на мое недоумение: «не такая, потому что грабят, а сражаются великолепно».

Надо понять, что это контрасты, которые совмещаются в человеческой душе: не только умирают, не только жертвуют собою, но пламенеют, бескорыстно любят Россию, а в то же время дают волю рукам и даже аппетитам. В их воодушевлении тайна их побед над большевистской армией, где только страх, корысть, да аппетиты, но нет любви, нет самого главного – души… И думая о добровольческой армии, невольно вспоминается изречение: прощаются тебе грехи твои многие за то, что ты возлюбила многое. Кто из двух лучше. Те ли неповинные в грабежах, но душою холодные и черствые люди, которые строго судят добровольческую армию, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы помочь России, или те, которые за нее совершают сверхчеловеческие подвиги и умирают, но рядом с возвышенным и светлым порывом переживают и минуты тяжкого падения. С точки зрения человеческой, об этом можно судить различно, но Божий суд всегда предпочитает того, кто горяч, тому, кто только тепел. Вспомним слова Апокалипсиса об ангеле Лаодокийской церкви: знаю дела твои, ты не холоден, не горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но поелику ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. (Апок. III. 15, 16).

Спасают Россию во всяком случае те, которые за нее подвизаются, а не те, которые их осуждают. Не мертвые делают историю, а живые – те, в коих чувствуется биение национального пульса, а живая душа человека никогда не слагается из одних добродетелей.

IX. Политическая атмосфера и политика добровольческой армии.

Чтобы понять добровольческую армию, ее успехи, недостатки и ее судьбу, – надо приглядеться к окружающей ее социальной и политической атмосфере. Мне пришлось наблюдать эту атмосферу дважды – в январе и в марте 1919 года. Оба раза я был командирован в Екатеринодар Советом Государственного Объединения, причем в первый раз пробыл там всего несколько дней, а во второй раз провел больше месяца, так как вследствие эвакуации Одессы французами, вернуться туда мне уже не пришлось.

Было много ненормального и болезненного в том, что приходилось наблюдать в Екатеринодаре; но по сравнению с Одессою там царила атмосфера *относительного* здоровья. Две черты местной жизни в особенности бросались в глаза приехавшему из Одессы, – изобилие съестных припасов на рынке и более правые политические настроения. Как ни парадоксальным это может показаться с первого взгляда, оба эти явления тесно между собою связаны.

За все время моего странствования по югу России я наблюдал такое изобилие только в двух местах – в Екатеринодаре и в Ставрополе. Мне приходилось есть там и поросенка, и гуся, и индейку; словом, такие блюда, которые во всех прочих местах составляли давно забытую роскошь. На каждом шагу в Екатеринодаре – съестная лавка, либо гастрономический магазин, на рынке беспредельное количество рыбы и горы чудного хлеба такой белизны, которая напоминает былые дореволюционные времена. Изобилию соответствуют и цены. Булка белого хлеба, стоящая в Одессе семь рублей, в Екатеринодаре продавалась в январе за рубль двадцать копеек. Самый дешевый обед, какой я ел в Одессе, стоил тринадцать рублей, – за обед такого же качества я платил в Екатеринодаре пять рублей. А за двенадцать рублей можно получить там то, что в Одессе стоит двадцать и более.

Надо отдать себе ясный отчет в социальном значении этого изобилия. В Екатеринодаре, в отличие от Одессы, царит атмосфера мелкой буржуазной культуры. И гусятина, и поросятина, и дивный белый хлеб, – все это продукты мелко-крестьянского казачьего хозяйства, которое заваливает рынок своими избытками. Это богатое крестьянство – природный враг большевизма, от которого оно может ждать только ограбления. Неудивительно, что увлечение большевиками среди кубанских

казаков было более, чем где либо, кратковременным: оно было основано на недоразумении: поняв свою ошибку, казаки возненавидели большевиков и стали прекрасно против них сражаться. Есть на Кубани у большевиков друзья – это пришлое иногороднее население, которое мечтает о наделении землею и о всяких выгодах за счет казаков. Это соперничество двух групп местного населения усиливает отвращение казаков к большевикам и к большевизму.

Тот факт, что в подобных же условиях находится и казачество терское, в высокой степени способствовал успехам добровольческой армии на северном Кавказе. Насильственно мобилизованные большевиками терские казаки легко переходили на сторону добровольцев и дрались с ожесточением за освобождение своей области. Этим объясняется огромное разрастание добровольческой армии во время преследования красноармейцев после побед на северном Кавказе, о чем я уже имел случай говорить. – Союз добровольческой армии с казачеством представляет собою вообще естественный симбиоз между идеей и интересом.

Идейного воодушевления у казаков чрезвычайно мало; они думают преимущественно о своих выгодах. – Поэтому у них местный интерес преобладает над общим: отсюда их ненадежность для общего дела. Они охотно сражаются за свои домашние очаги, но много менее охотно выходят за пределы своей области – проливать кровь за единую Россию. В конце концов добровольцам удалось увлечь казачество на Царицын, главным образом потому, что горький опыт убедил казаков в опасности, угрожающей их областям от соседства с непобежденными большевиками. Другим стимулом была, конечно, перспектива грабежа, открывшаяся благодаря победам.

Тут мы имеем, по-видимому, черту общую всем казакам, – кубанским, донским и терским. Понятно, насколько этим подчеркивается заслуга добровольческой армии перед Россией. Построить единую Россию на зыбкой почве казачьих и вообще местных интересов было бы совершенно невозможно. Ведя борьбу против большевиков, добровольцы должны были в то же время преодолевать местные сепаратические течения среди собственных своих союзников. Легко себе представить ту силу воодушевления и ту степень стойкости, которая потребовалась, чтобы справиться с этой неимоверно трудной задачей. Ведь измена донских казаков не раз ставила добровольческую армию на край гибели. А в то же время узко понятый местный патриотизм автономных казачьих управлений втыкал ей палки в колеса, где только мог. Нужно было немало трудов и усилий, чтобы вырвать у богатых кубанцев

необходимое для добровольческой армии продовольствие: кубанцы вообще крайне неохотно выпускают какие либо съестные припасы из своих пределов; шкурно-желудочными интересами определяется вся деятельность кубанской рады. А между тем для победы над большевиками подвоз хлеба в завоеванные местности не менее важен, чем военные успехи!

На почве борьбы с сепаратизмом между добровольцами и казаками происходят беспрерывные столкновения, но борьба между общими всероссийскими политическими партиями – тут не при чем. Собственно левые настроения в казачестве не имеют глубоких корней. Социальные инстинкты у казаков по существу буржуазные. Левые в собственном смысле, социалисты, как таковые – в кубанской области есть, как и везде, но они лишены реального значения.

Отсюда яркий контраст в политической атмосфере между Екатеринодаром и Одессой. В Одессе – стране, обреченной большевизму, вся политическая и общественная жизнь неудержимо сама скатывалась влево словно по наклонной плоскости. Влево толкал страх накопляющегося революционного настроения, готового перейти в открытое революционное движение. Радикалы всех видов и типов повторяли всегдашнюю ошибку революционных времен: они хотели задобрить массы уступками; многие сторонники добровольческой армии надеялись посулами, да уступками создать боле благоприятное настроение в ее пользу, а между тем уступчивость только усиливала настроения большевистские. В том же направлении, как мы видели, подталкивали и французы.

Неудивительно, что при этих условиях самые умеренные даже люди стихийно левели. Изо дня на день я наблюдал это полевение в наиболее консервативных элементах Совета Государственного Объединения. Тут действовал гипноз местной социальной среды.

Наоборот, в Екатеринодаре замечалась столь же естественная тенденция к поправению. Генерал А.М. Драгомиров в беседе со мною и С.Н. Масловым в январе жаловался на «кадетское засилье» в Екатеринодаре, «но знаете ли», продолжал он, «они неудержимо правеют: во многих отношениях даже мы левее их». То же впечатление я испытал непосредственно при встрече с этими самыми кадетами в Екатеринодаре. В Одессе меня поражал тот факт, что даже такие сравнительно правые люди, как А.С. Хрипунов, в общем тип октябриста, и националист граф В.А. Бобринский отступили от начала диктатуры в чистом виде и шли на компромисс с директорией. А в то же время в Екатеринодаре такие определенные кадеты, как В.А. Степанов, решительно

заявляли, что впредь до окончания междоусобной войны – единственной носительницей государственного верховенства должна быть диктаторская власть командующего армией. Левый кадет Н.И. Астров, человек всегда стоявший неизмеримо левее меня, при встрече со мной выражал изумление. – «Дайте посмотреть на вас, Евгений Николаевич! Как! Вы там в Одессе ведете переговоры с левыми, а мы-то здесь с ними даже не встречаемся». Астров, видимо, был смущен: он смотрел на меня с чувством зависти и не без угрызения совести. Ему было как будто неловко от своего поправения, и, глядя на меня, он спрашивал себя, не следует ли и им здесь начать разговоры с левыми, чтобы не оказаться «отсталыми». Но для этих разговоров в Екатеринодаре, не представлялось ни случая, ни повода, ни в особенности надобности. Там не было французов, да и гипноз общественной среды оказывал диаметрально противоположное влияние. Я поспешил заверить Астрова в том, что их положение представляется завидным по сравнению с нашим и высказать убеждение в чисто временном демократическом значении наших переговоров с левыми.

В Январе, 1919 года была и другая причина, способствовавшая этому общему поправению в юго-восточной России. Это известия из Сибири от Колчака, которые доставлялись приезжавшими оттуда офицерами. Прежде всего эти посланные выяснили причины крушения директории и переворота, выдвинувшего адмирала Колчака. Из их рассказов всем стало ясным, что директория оказывала на армию разлагающее влияние, так как она допускала пропаганду Чернова и Ко. против офицеров среди солдат. Покончить с директорией оказалось необходимым, чтобы сохранить дисциплину и боеспособность армии. Выяснилось, что Колчаку удалось сформировать мощную и хорошо дисциплинированную армию не только без всякого содействия со стороны социалистических элементов, но вопреки их противодействию. Как это могло ему удаться?

Объясняется это в общем так же, как и зимние успехи добровольцев на северном Кавказе. Армия Колчака формировалась в благоприятной для этого дела общественной среде. Ее главный контингент – сибирское крестьянство, богато наделенное землею и никогда не видавшее хозяйств помещичьих. Благодаря почти полному отсутствию крупного землевладения в Сибири, там нет и того социального антагонизма, который в Европейской России служил главнейшей опорой для большевистской пропаганды.

Большевикам нечем прельстить сибирское крестьянство: по

своим социальным инстинктам оно не менее, а может быть, и более консервативно, чем казачество. Поэтому нечего удивляться, что все дело Колчака совершалось в атмосфере правого, а не левого гипноза. По-видимому, этот гипноз подействовал и на тех социалистов, которые сочли возможным остаться в составе его правительства после провозглашения его диктатуры. Об этих социалистах офицеры, приехавшие из Сибири, говорили, что они «ручные, домашние», совершенно непохожие на тех, что у нас называются социалистами. И действительно, наши приручению не поддавались. Примирить их с диктатурой оказалось безусловно невозможным!

В итоге уже первая поездка в Екатеринодар оказалась для меня настоящим откровением. До тех пор в Киеве и в Одессе я наблюдал почти исключительно явления общественного разложения и смерти. Все, что я видел, оказалось роковым образом обреченным большевизму. И вдруг в Екатеринодаре мне бросилось в глаза диаметрально противоположное и я ясно увидал, откуда придет спасение для России.

Оказалось, что незанятая большевиками Россия разделена на две части каким то своеобразным политическим меридианом, проходящим где-то посреди области Войска Донского. К западу от этого меридиана все заражено революционной атмосферой, все неудержимо левеет, все скатывается к большевизму, словно по наклонной плоскости. Наоборот – к востоку – противоположная наклонная плоскость: – там все прогрессивно правеет, а вместе с тем и здоровеет. Противоположности общественной среды соответствует и противоположная картина военных действий. К западу от меридиана – ошеломляющее успехи большевиков, которые почти без сопротивления завладели Украйной и навели панический ужас на французов в Одессе. А к востоку – столь же ошеломляющее успехи добровольческой армии – зимний разгром большевиков на северном Кавказе, а потом весенний их разгром на Дону и движение к Царицыну! По-видимому, политический меридиан, о котором я говорю, делит на две части не только Россию, но весь мир. К западу от него все народы Европы, истерзанные, измученные войною и так или иначе революционизированные ею. В частности французские и одесские левые настроения несомненно составляют одно целое. Союзники наши увлекают нас на наклонную плоскость, ведущую к крайней левой, потому что они сами несомненно катятся туда же. Отсюда то взаимное непонимание французов и добровольческой армии, которое мне приходилось наблюдать в течение целой зимы.

Непонимание это было несомненно одной из причин одесской катастрофы, независимо от того, что французы были до

последней степени раздражены против добровольческой армии, они ее несомненно недооценили и в той же мере переоценили большевиков. Не отдавая себе отчета в различии социальной атмосферы на востоке и на западе России, они были убеждены в том, что большевизму так или иначе обречена вся Россия. В дни зимних наших неудач на Дону генерал д'Ансельм и полковник Фреденберг говорили, что занятие Новочеркасска и Ростова большевиками – вопрос каких-нибудь трех-четырех дней. Едва ли они ушли бы из Одессы так поспешно и в особенности едва ли их уход сопровождался бы теми тяжкими оскорблениями добровольческой армии, о которых будет рассказано в дальнейшем, если бы они не были убеждены в неизбежности и близости ее окончательной гибели. Поразительно, до какой степени действительность обманула их предвидения.

Наиболее блестящее успехи добровольцев развернулись вскоре после ухода французов, т. е. именно в тот момент, когда последние ждали их конца.

Взаимные отношения добровольческой армии и французов вообще – одна из самых поучительных и интересных страниц истории нашего второго смутного времени. Они в высшей степени типичны для обоих противоположных полюсов по обе стороны политического меридиана.

Характерно, что в то самое время, когда добровольческие генералы в Екатеринодаре подчинялись «кадетскому» засилию, эти самые генералы слыли в Одессе за величайших реакционеров. Oh, ces volontaires, ils n'ont rien appris et rien oublié (Ах уж эти добровольцы: они ничему не научились и ничего не забыли!) — волновался генерал д'Ансельм; с своей стороны, левые и левеющие русские поддерживали французское командование в этом убеждении.

На самом деле политика Деникина и его сотрудников в Одессе была не реакционною, а просто неумелою. Они обнаружили с одной стороны полное незнание и непонимание запутанных местных отношений, а с другой стороны неспособность отрешиться от старинных способов управления, совершенно неприспособленных к новым условиям жизни.

С самого начала французской оккупации, Одесса рассматривалась и французами, и русскими сторонниками единой России как город русский, а не украйнский. Поэтому право добровольческой армии так или иначе участвовать в управлении Одессой и одесским районом признавалось всеми, кроме украйнцев и большевиков. Командующий местными добровольческими войсками генерал был в то же время и главою гражданского управления. Когда я приехал в Одессу, в этой

должности состоял молодой генерал-майор А.Н. Гришин-Алмазов. С другой стороны, в военное время все управление, как гражданское, так и военное, неизбежно подчиняется высшей военной власти данной местности, а таковою было в данное время несомненно французское командование. Отношения при этих условиях не могли не быть чрезвычайно трудными: с одной стороны было необходимо сохранить в Одессе верховенство добровольческой армии; с другой стороны – ее местный представитель в Одессе должен был так или иначе подчиняться требованиям французского военного командования. В этих сложных взаимных отношениях с самого начала таилась возможность конфликта между двумя верховенствами.

Отношения обострились, в особенности благодаря тому, что генерал Деникин упорно держался старых способов управления, т. е. стремился всем управлять из Екатеринодара, как в былые времена вся Россия управлялась из Петербурга, и не решался давать своему же собственному представителю на месте достаточных полномочий. Благодаря этому, конфликт стал неизбежным.

Уже в декабре 1918 года отношения стали невозможными и Совету Государственного Объединения стало очевидным, что назревает конфликт в самой острой форме. Генерал Деникин оставил за собою главнейшие функции гражданского управления в Одессе и ее районе. Его представитель в Одессе был стеснен в возможности производить экстренные расходы и для каждого сколько-нибудь значительного экстренного расхода должен был испрашивать разрешения из Екатеринодара. То же разрешение требовалось для ввоза в Одессу и для вывоза из нее каких бы то ни было продуктов и для передвижения каких бы то ни было морских судов из одесской гавани. Чтобы понять то тяжелое положение, в какое ставились этими требованиями местные власти и французское командование, надо принять во внимание необычайные трудности сношений между Одессой и Екатеринодаром. Телеграфные сношения по прямому проводу были редки и неправильны, вследствие постоянно повторяющейся порчи провода. Радиотелеграфные сношения были почти невозможны, так как радиотелеграф воспроизводил всю сложную путаницу радиотелеграмм со всего света, в которой трудно было отличить своих от чужих. Корреспонденция поддерживалась исключительно пароходными сношениями. Но в виду хронического недостатка угля и ненадежности «товарищей»-грузчиков, рейсы были тоже весьма редки и неправильны. По расписанию, пароходы должны были отправляться и прибывать в определенные дни два раза в неделю. На самом деле никогда

нельзя было предвидеть дня и часа, когда пароход тронется в путь. Помню, как в Новороссийске я три дня ждал парохода, а на четвертый отплыл и вернулся опять в порт. Сначала угля не было, потом грузчики отказались грузить уголь, потом «капитан куда-то ушел», потом пароход отправился, но вернулся для перегрузки, потому что погруженным оказался уголь такого качества, с которым мы делали два узла в час… При таких способах сношений, задача управления Одессой из Екатеринодара становилась просто напросто невозможной. Неотложные вопросы, с которыми обращались одесские власти в Екатеринодар, оставались неделями без разрешения, дела не двигались, назревали многочисленные опасности.

«Войдите в мое положение», говорил командированным в Екатеринодар членам Совета Государственного Объединения генерал Гришин-Алмазов, – «вдруг ко мне приходят грузчики из порта, которым мы должны большую сумму, и предъявляют ультиматум: или уплата в трехдневный срок, или забастовка, полная остановка всякого пароходного движения и, стало быть, голод в Одессе, куда множество продуктов подвозится морем. Или другой случай. По закону прежнего гетманского правительства все чиновники к празднику получают определенную сумму наградных. Разрешение выдать такой же процент наградных офицерам-добровольцам было безусловно необходимо; как не дать им того, что дается всякому чиновнику, но к празднику это разрешение еще не было получено в Одессе. Я решился выдать на свой риск и страх и получил за это строгий выговор из Екатеринодара. Хоть выходить в отставку. Скажите Деникину, если мне не доверяют, – пусть назначают другого, – если мне верят, пусть оставят меня. Но буду ли я, будет ли другой, все равно – это лицо должно обладать теми полномочиями, без коих управлять немыслимо».

Легко себе представить, в какое положение были поставлены такими способами управления французы в Одессе. Отношения обострялись тем, что и их требования тоже не были умеренны. Между тем как добровольческое командование не вступало на путь необходимой децентрализации, французы хотели быть полными хозяевами в Одессе. Депутаты нашего Совета, ездившие в Яссы к Бертело еще до приезда в Одессу генерала д'Ансельма, привезли нам французский проект будущего управления Одессой, совершенно не считавшийся с требованиями представителя добровольческой армии. Французы предполагали просто на просто поручить все управление Одессой и Одесским районом совету из русских общественных деятелей при французском командовании. Они даже спрашивали наших депутатов, кого им

назначить в этот совет, совершенно не задаваясь вопросом, нужно ли им или не нужно входить об этом в переговоры с добровольческой армией. Эти французские проекты встречали поддержку со стороны тех местных федералистических и автономических течений, о которых я уже говорил.

С приздом в Одессу д'Ансельма и его штаба, течения эти чрезвычайно усилились. Положение французского командования и в самом деле было чрезвычайно трудным. Одесса оставалась без нефти и керосина. Французы пытались послать за этими продуктами пароход в Батум, но команда отвечала решительным отказом выйти из порта без разрешения из Екатеринодара, так как в противном случае – ей угрожал расстрел. Д'Ансельм жаловался нам, членам Совета Государственного Объединения, что из за этих порядков Одессе угрожает серьезная опасность со стороны большевиков: он лишен возможности послать в Салоники за десантом, который там уже готов к отплытию, потому что Екатеринодар упорно отмалчивается на предложение – отпустить пароходы. По словам Фреденберга, дело будто бы доходило до того, что добровольческое командование воспрещало в Николаеве, продавать французам съестные припасы. Резкое столкновение произошло и из-за попытки французов сформировать новые части, так называемые «смешанные бригады» из русских под начальством французских офицеров.

Мотивы к образованно этих бригад были двоякие. Во-первых, французы, не желавшие сами сражаться, хотели иметь в своем полном распоряжении русские части, которые можно было бы посылать в бой. Во-вторых, образования смешанных частей жаждали многие местные люди, особенно хлеборобы, которые не доверяли добровольческой армии из-за производимых некоторыми ее частями грабежей, и поэтому мечтали вверить охрану своей безопасности другим частям под контролем французов.

По весьма понятным причинам добровольческая армия не могла дать своего согласия на образование таких частей. Если бы рядом с добровольческими частями возникли другие, неподчиненные добровольческому командованию, иначе поставленные в отношении вознаграждения и дисциплины, это не могло бы не отозваться на управлении самой добровольческой армией: офицеры, недовольные добровольческими порядками, стремились бы переходить к французам; добровольческое командование было бы вынуждено делать в своих частях те же прибавки содержания и допускать те же послабления дисциплины, какие заблагорассудятся допустить французскому командованию. Иначе говоря, при этих условиях генерал Деникин

не был бы хозяином у себя дома. Речь шла о сохранении единства командования русской армии, что исключало возможность каких либо уступок. Отказ был естественен, но безо всякой надобности он был сделан в необычайно резкой и оскорбительной для французской армии форме. Генерал Деникин не счел даже нужным вступать по этому поводу в объяснения с французами: он просто на просто прислал в Одессу генералу Санникову для опубликования приказ, коим объявлялось, что всякий русский офицер, который вступит в «смешанные бригады», будет за это предан военно-полевому суду.

Д'Ансельм, с которым мне приходилось объясняться по этому поводу, говорил о явном оскорблении французской армии. Оно и неудивительно: в дни мировой войны, еще при существовании Императорского правительства вступление русских во французскую армию не только разрешалось, но считалось за честь: а тут вдруг без всяких причин оно было признано за тяжкое преступление:

„Comment voulez-vous travailler aver ce Deniquîne, qui ne fait que nous péter dans les Jambes“ (Как вы хотите работать с этим Деникиным, который только втыкает палки в колеса!) волновался Д'Ансельм. „Il nous reste à plier nos bagages et nous en aller“ (Остается уложить наши пожитки и уходить.).

Получилось положение необычайно острое: слушая французов, можно было подумать, что добровольческое командование делает ряд нелепых и возмутительных выходок по отношение к французской армии. Из слов представителей добровольческой армии вытекало как раз обратное, – что нелепости и возмутительные поступки исходят от французов. Одни и те же факты получали при этом с двух сторон диаметрально-противоположные объяснения. Так, по поводу требования французов, чтобы пароходами в Одессе заведывали местные власти, Деникин замечал, что пароходы – общее достояние всего государства, в котором заинтересована не одна Одесса, а все побережье Черного моря. Свое недоверие к местным людям он объяснял между прочим тем, что местные дельцы из одесситов уже успели зафрахтовать часть пароходов французам, которые угнали их в Средиземное море для своих собственных надобностей. По словам добровольческих властей французы, вследствие острой нужды в тоннаже, вступили на путь мародерства: они присваивают себе и наши, и турецкие пароходы, вообще все, что плохо лежит, а местные дельцы им в этом потворствуют. Факт воспрещения продавать французам съестные припасы отрицался добровольцами; вместе с тем они указывали, что французы решительно воспретили добровольческим отрядам

пребывание в Херсоне и Николаеве.

Во всех этих заявлениях с обеих сторон было великое множество недоразумений: чувствовалось, что непосредственное личное объяснение между Деникиным и Бертело могло бы устранить значительную их часть. Но свидание роковым образом не могло состояться: Бертело побуждал Деникина приехать в Констанцу для переговоров еще в декабре 1918 года, но на беду, вскоре после этого предложения началось опасное для добровольческой армии время неудач на Дону, вследствие разложения и измены некоторых донских частей. Деникин не мог уехать в столь критическую для его армии минуту. Потом, когда Деникин предлагал выехать, свидание не могло состояться, по причинам, зависящим от Бертело. А между тем, не назначение свидания истолковывалось французами, как доказательство упорного нежелания сделать какие-либо шаги навстречу французскому командованию. В особенности д'Ансельм не хотел слышать никаких резонов, он доказывал мне и барону Меллер-Закомельскому, что генерал Деникин во всякое время мог выехать, поручив вместо себя командование одному из талантливых своих помощников.

Положение осложнялось личными особенностями характера Деникина; человек необычайно прямолинейный и честный, он не только был чужд какой бы то ни было дипломатии, он не чувствовал в ней надобности. «Я солдат, высказываю прямо то, что думаю, к чему эти дипломатические ухищрения», говаривал он. От одного видного дипломата я слышал, что этой своей чертой верховный главнокомандующий причинял дипломатии не мало затруднений. Французам и англичанам он высказывал, нисколько не стесняясь, «простым языком», все, что он думал…

Англичанам он однажды в упор поставил вопрос, в каком качестве они пришли на Кавказ; – в качестве ли друзей, или врагов! Прибывши в январь 1919 года в Екатеринодар, я был поражен распубликованной в газетах телеграммой Деникина генералу Бертело, от которого он требовал, чтобы тот заступился за взятых в плен армией Петлюры добровольцев. Телеграмма заканчивалась словами: – «напоминаю вам о вашем долге, генерал». – Такой тон считается резким в обращении начальника к подчиненному и надо удивляться, что Бертело им не был оскорблен. „Oh, Berthelot est bon enfant“ (О, Бертело добродушен!), заметил мне по этому поводу Энно.

Все старания Совета Государственного Объединения были направлены к тому, чтобы так или иначе уладить эти невозможные отношения, но попытки наши в этом направлении были совершенно безуспешны. Помимо указанных причин, этому

препятствовал ряд местных русских влияний в Одессе и в Екатеринодаре. В Одессе подливали масло в огонь русские федералисты, а в Екатеринодаре обостряла отношения местная бюрократия, которая под громким именем «верховных прав добровольческой армии» ревниво отстаивала собственные прерогативы и с этой точки зрения по поводу каждого проекта децентрализации управления кричала «о расчленении России» и чуть ли не об измене. Эти «ревнители прерогатив центральной власти», сплошным кольцом окружавшие генерала Деникина, составляли как бы маленький дворик, коего главная забота заключалась в том, чтобы не подпускать к главнокомандующему никаких посторонних влияний. Они систематически «начиняли» генерала против всех тех, кто казался им опасными соперниками. Все это были кадеты средней величины, люди с весьма ограниченным политическим кругозором, начиненные узкими и партийно-кадетскими формулами и не имевшие ни малейшего понятия об управлении. В качестве «кадетов» они стояли за формулы демократические, упорно проводя «четырехвостку» для земских и городских выборов; а в качестве кадет «поправевших», они проводили в жизнь свою программу через диктатуру генерала Деникина. «Как ни странным это может показаться», говорил мне и С.Н. Маслову генерал А.М. Драгомиров, – «у нас собственно демократическая диктатура».

В политике эта «демократическая диктатура» оказалась созданием весьма неуклюжим и неповоротливым. По отношению к Одессе и французам, во всяком случае, она выказала только отрицательные стороны. Мне пришлось в этом убедиться с первого же знакомства с генералом Деникиным.

В январе 1919 года я был командирован вместе с С.Н. Масловым в Екатеринодар с весьма определенным поручением от Совета Государственного Объединения. Мы должны были выяснить генералу Деникину всю ненормальность отношений, сложившихся в Одессе между французами и добровольческими властями. Нам было вменено в обязанность предупредить его, что дальнейшее развитие таких отношений должно неминуемо привести к уходу французов из Одессы, либо к захвату ими полноты власти на правах оккупации. Доклад наш заканчивался практическим выводом. Если генерал Деникин хочет продолжать прежнюю линию политики, то он должен пойти и на оккупацию, как на неизбежное ее последствие. Наоборот, если он хочет сохранить власть в Одессе за собою, он должен вступить на путь децентрализации. Отвергая всякую мысль о каком-либо федеративном устройстве управления, Совет Государственного Объединения настаивал единственно на назначении в Одессу

генерал-губернатора с широкими полномочиями, с правом решения на месте ряда важных денежных вопросов. Мы должны были при этом указать и указали на безусловную невозможность разрушать в Екатеринодаре все сколько-нибудь серьезные вопросы, касающиеся Одесского района.

Генерал Деникин, принявший нас в присутствии главнейших своих помощников, генералов – Драгомирова, Лукомского и Романовского, отнесся к нам чрезвычайно сурово. Его ответы нам производили впечатление форменного разноса. С первых же слов стало очевидно, что он нас не только не понимает, но даже и не с л у ш а е т. Мы настаивали на усилении полномочий представителя добровольческой армии в Одессе, а он обвинял нас чуть ли не в стремлении к расчленению России… Мы старательно отмежевывались от федералистов, а он приписывал нам определенно федералистические замыслы. Мы предостерегали его против возможности французской оккупации, а он сказал нам не то в полушуточной форме, не то всерьез, что если мы будем содействовать французской оккупации, он признает нас изменниками и поступит с нами соответственно.

Мы долго недоумевали, что собственно сей тон означает, но вдруг Деникин назвал нам имя, которое все нам разъяснило. «Я знал о ваших намерениях еще до вашего приезда из сообщения по прямому проводу инженера Демченко». Тут только мы поняли, что мы были жертвой двойной махинации. Нашему отъезду в Екатеринодар предшествовали долгие дебаты в Совете Государственного Объединения, во время которых между прочим обсуждался и был отвергнут всеми голосами против одного федералистический проект управления Одессой, составленный присяжным поверенным Маргулиесом. Не будучи никем уполномочен и не предупредивши нас, Маргулиес с его единомышленником Демченко составили депешу в Екатеринодар, в которой изложили весь свой федералистичский проект, как требование Совета Государственного Объединения; «для подробного разъяснения этого постановления», значилось в депеше, «выезжают князь Е.Н. Трубецкой и С.Н. Маслов». Понятно, что эта депеша вызвала в Екатеринодаре целую бурю негодования, а «дворик» воспользовался случаем, чтобы подорвать к нам доверие и начинить генерала Деникина против Совета Государственного Объединения.

«Мы знали, что против вас готовится буря и хотели вас предупредить; отчего же вы к нам не зашли раньше», спрашивали меня потом члены «дворика». А для меня было ясно, что буря была для них приятным и занимательным зрелищем.

Во время первой аудиенции мы так и не были поняты; для

этого потребовалась другая. В промежутке между обеими генерал А.М. Драгомиров – человек весьма неглупый, объяснил Деникину, что он понапрасну нас обидел, смешав нас с нашими противниками-федералистами. Деникин был очень сконфужен и при втором приеме, видимо, старался загладить впечатление первой встречи, но он не находил слов и старался выказать доброе к нам расположение улыбками и интонациями голоса: «да нет же, ну как же, неужели вы меня так поняли, да нет, это у меня манера такая солдатская!»

В общем для нас стало сразу очевидным, что как правитель – временный носитель верховной власти, Деникин – не на высоте положения. Перед нами был несомненно чудный человек и, по всей вероятности, прекрасный полководец, но с политическим кругозором среднего дивизионного генерала. Так его расценивали и в Екатеринодаре.

Сложные политические задачи, а в частности одесский и французский Гордиевы узлы, оказались Деникину не по плечу. В конце концов он обещал нам назначить в Одессу генерала с широкими полномочиями и назначил генерала А.С. Санникова, который и выехал из Екатеринодара вместе с нами. Но по приезде в Одессу оказалось, что вновь назначенный генерал располагает не большими полномочиями, чем его предшественник. Вместо того, чтобы решать самостоятельно дела на месте, он по каждому сколько-нибудь серьезному вопросу сносился с Екатеринодаром и ждал оттуда указаний. К тому же назначение Санникова без соглашения и сговора с Вертело было само по себе большой бестактностью. Оказалось, что как раз между Бертело и Санниковым были еще во время войны какие-то неприятные столкновения и нелады на румынском фронте. Неудивительно, что тотчас после назначения Санникова, Бертело довел до сведения Деникина решительное требование, чтобы представитель добровольческой армии в Одессе был назначен по соглашению между французским и русским командованием.

До исполнения этого требования не дошло; не дошло и до свидания двух генералов. В один прекрасный день Бертело был отстранен от заведывания делами одесского района и вместо него приехал в Одессу командующей французскими войсками на Востоке генерал Франше д'Эспере – человек решительный и резкий. Он произвел в Одессе тот переворот, который мы предсказывали, назначил без всяких предварительных сношений с добровольческой армией особый совет при французском командовании из русских общественных деятелей для управления делами одесского района. Добровольческие власти были им просто на просто устранены, притом в самой бесцеремонной и

вызывающей по отношению к добровольческой армии форме. Он просто на просто отослал генерала Санникова и Гришина-Алмазина в Екатеринодар при письме на имя верховного главнокомандующего. В письме было коротко и ясно сказано, что означенные генералы отсылаются в полное распоряжение генерала Деникина. Всего несколькими днями позже французы бросили Одессу, а затем и Крым.

Казалось, для добровольческой армии настали катастрофические дни. – «Тяжело на фронте», говорил нам генерал Деникин. «Прут со всех сторон несметные полчища большевиков, мои полки истекают кровью, а пополнять их нечем». Но на наш вопрос (Я был у него в составе депутации от Совета Государственного Объединения с бароном Меллером-Закомельским.), не повлияла ли на ухудшение положения измена французов, он, к удивлению нашему, отвечал: «ну, нет, нисколько; ведь они же все равно ничего не делали и даже не отвлекали на себя сколько-нибудь значительных сил большевиков, я полагаю, что их уход на нас совершенно не отзовется».

Слова эти блистательно оправдались. После трудных дней, которые закончились прорывом большевиков на Торговую и достигли апогея на Святой, наступил внезапный и крупный перелом военного счастья в нашу пользу. Удар по большевикам в Царицынском направлении, уничтожение нескольких большевистских армий, взятие Изюма, Харькова, Белгорода, наконец – полное разложение большевистских войск и всеобщее пламя восстания у них в тылу – все это доказывает, что теперь конец уже близко.

Гибель большевиков и полное крушение большевизма – вопрос немногих месяцев, а может быть, и недель.

Как это ни странно, мы впервые ясно увидели берег почти непосредственно вслед за изменою французов, – тотчас по окончательном крушении союзнической ориентации. Уже в самые дни одесской катастрофы получались известия об ошеломляющих успехах Колчака; потом начались еще более ошеломляющее успехи добровольческой армии.

Разумеется, между уходом французов и этими успехами нет причинной связи. Есть, однако, знаменательное совпадение. Почти в тот день, когда мы окончательно утратили надежду на иноземную помощь, события ясно доказали, что собственных наших сил совершенно достаточно для низвержения большевиков. Случилось это настолько неожиданно для всех, что русские люди не сразу поверили своему счастью. Беженцы, хлынувшие на юго-восток России из покинутых французами

областей, первоначально принесли с собою оттуда атмосферу деморализации и паники.

Они не верили в прочность нового убежища и готовились к новому бегству в Сибирь к Колчаку. «Типическая Вандея», говорили некоторые из них о добровольческой армии и многие заранее мирились с участью Вандеи. Иные, впрочем, еще ждали спасения от Колчака; но поразительно, что почти никто не надеялся на добровольческую армию; даже оптимисты говорили, что ей «в лучшем случае удастся только достоять до прихода Колчака». И это неудивительно: видимость была настолько обманчива, что в сред самых добровольцев находилось не мало стойких, мужественных и доблестных офицеров, которые также не верили. «Она не способна победить», говорили они о добровольческой армии и в доказательство указывали на ее малочисленность, на плохое управление, на полную административную неумелость и организаторскую неспособность ее вождей. И точно, организаторских способностей добровольческие вожди не выказали, в политике они не поднимались выше уровня посредственности, а их гражданская администрация оказалась из рук вон плохою.

Была в них иная сила, которая побеждала: в те дни, когда мудрые политики малодушествовали, приходили в отчаяние и возлагали все свои надежды на постороннюю помощь, – эти «неумные» наперекор рассудку верили в Россию, вопреки здравому смыслу формировали они добровольческие полки из десятков храбрых офицеров, в то время, когда большевистские полчища насчитывали десятки и сотни тысяч. Их высший подвиг – ледяной поход – мог казаться и казался актом крайнего безумия. Но именно это священное безумие и было нужно для того, чтобы спасти Россию. Понятно почему именно этим и только этим можно было сломить силу большевиков: чтобы победить большевистский интернационализм, нужно было противопоставить ему пламенное, мощное и настойчивое утверждение России. Для этого требовалась не столько сила ума, сколько сила веры, цельность характера и крепость нравственного закала.

Беседуя с Деникиным, я всякий раз поражался неясностью его мыслей и недальновидностью его планов. Помню, как он смутил меня и С.Н. Маслова еще в Январе 1919 года. Мы доказывали ему, насколько опасен для добровольческой армии путь на север через Украйну, еще не изжившую большевистских настроений, и советовали идти через Царицын – в те великорусские губернии, где большевики стали ненавистны населенно. А он развивал свой план идти широким фронтом с юга на север «от Волги до

германской границы». Я был прямо ошеломлен этим проектом, который казался мне явно наивным. Но рядом с этим в главнокомандующем чувствовалась иная не умственная сила – кристальная чистота и ясность нравственного облика. Вспоминалось изречение С.М. Лукомской: «по общему отзыву его товарищей, Деникин – это краса рода человеческого». Помню впечатление одного из членов Совета Государственного Объединения А.М. Масленникова, который ездил в Екатеринодар со мною и бароном Меллером-Закомельским в марте. На этот раз нам опять не повезло: нашему появлению у Деникина снова предшествовал целый короб лживых о нас сообщений и Деникин высказывал свое полное недовольство нашей деятельностью. Тем не менее один из моих сотоварищей по окончании разговора, сказал, что Деникин произвел на него обаятельное впечатление: «и странное дело, чем больше он нас ругал, тем больше он мне нравился, – чудный должен быть человек. Вот такому бы быть главою государства; ну, конечно, с тем, чтобы при нем состоял премьер-министр, хоть сукин сын, да умный».

Размышляя о событиях, который развернулись на наших глазах, легко понять огромное значение этих выдающихся нравственных качеств главнокомандующего. Чтобы победить большевизм нужно было, главным образом, его изжить. Это одна из тех массовых болезней, которые преодолеваются временем и непоколебимым упорством. Большевизм с самого начала таил в себе зародыши смертоносной болезни, но надо было дать этой болезни развиться: необходимо было впредь до окончательного его развития сохранить всю силу сопротивления добровольческой армии. В этом и заключается бессмертная заслуга Деникина и его сподвижников. Они истекали кровью, но не колебались и достояли до конца. Не мудрость политиков решила судьбу России, а подвиг веры и бесстрашия. Деникин явил при этом высший подвиг бескорыстия. Он принес в жертву родине свое личное честолюбие и заявил о своем подчинении верховному правителю Колчаку как раз в тот момент, когда Колчака постигли временные неудачи, а в то же время добровольческая армия находилась на высот военного счастья. Самоотвержением великого гражданина достигнуто было единство как раз в тот момент, когда Россия всего больше в нем нуждалась. Легко себе представить, каким тормозом в деле объединения России могло бы оказаться соперничество *двух* главнокомандующих и двух верховных правителей! Честь и слава Деникину за то, что этого не случилось!

Благодаря беспримерному подвигу горсти героических личностей, стало возможным то чудо, которое совершается на

наших глазах. Спасение России собственными силами! Чувствую, что здесь я встречу возражение: ведь Россия пользуется широкою помощью *Англии*, которая снабжает добровольческую армию всем необходимым, – артиллерией, танками, снарядами, одеждой, вообще боевыми припасами всякого рода. Что могла бы сделать добровольческая армия одна без этого содействия.

Я не стану отрицать, что материальная помощь Англии имеет весьма существенное значение, но эта помощь имеет свою поучительную историю, о которой я могу рассказать кое-что, как свидетель-очевидец. Могу удостоверить, что содействие Англии досталось России не даром: как и многое другое она завоевана подвигами ее сынов.

– В январе, когда я впервые приехал в Екатеринодар, помощь Англии была меньше нуля: она представляла собою отрицательную величину. – До того времени прибыл из Англии в Новороссийск всего только один транспорт с бракованными вещами, с гнилыми сапогами и совершенно негодным к употреблению платьем. Добровольческая армия категорически отказалась принять эти гнилушки.

Когда я приехал в Новороссийск во второй раз, – я застал там первые английские транспорты с танками и артиллерией. Потом боевой материал стал прибывать из Англии в таком изобилии, что добровольческая армия не поспевала его разгружать. Англичане жаловались на медленность разгрузки и спрашивали, не приостановить ли им доставку снаряжения, в виду неспособности добровольческой армии принимать его в таком количестве!

Очевидно, что весною 1919 года произошел какой-то перелом в отношении Англии к нам; он отразился не в одной доставке грузов. По свидетельству генерала Эрдели, который в апреле 1919 года вернулся в Екатеринодар из оккупированного англичанами Закавказья и делал доклад о своем пребывании там, в отношении англичан к русским как раз весною 1919 года произошел полный перелом. До того оно было в высшей степени холодным, высокомерным и презрительным. Но вдруг оно сделалось в высшей степени предупредительным, внимательным и любезным. Та же резкая перемена тона наблюдалась и в Екатеринодаре. Говоря об уход французов из Одессы, англичане с удивлением пожимали плечами и всячески старались подчеркнуть, что они считают поведение Франции прискорбной и непонятной ошибкой. Нам это казалось тем более удивительным, что все информации, какие получались из Лондона и Парижа, свидетельствовали о наилучшем расположении к России французов и о холодности к нам англичан.

Вскоре, однако, мы поняли в чем дело. От русских, служивших в английской миссии, мы узнали, что англичане смущены успехами Колчака и не на шутку встревожены тем, что *Колчак ничем им* не обязан. Они опасаются, как бы адмирал Колчак, по достижении им полной победы над большевиками, не вступил в дружеские отношения с немцами.

Очевидно, что теперь, как и прежде, англичане руководствуются в своих отношениях к России не сентиментальными соображениями и не симпатиями, а холодным прозаическим расчетом. Как солидная торговая фирма, Англия с самого начала прикидывала и соображала, стоит или не стоит ей ставить ставку на Россию. Пока Россия казалась англичанам мертвым телом, они относились к нам холодно и презрительно, как тот начальник штаба английского адмирала, с которым я в декабре 1918 года беседовал в Севастополе. Наоборот, когда начались успехи Колчака, англичане, раньше французов сообразившие, что Россия – живая сила, расценили добровольческую армию, как выгодное предприятие, и стали затрачивать на нее капиталы.

Таким образом, самая помощь Англии представляет собою яркое свидетельство в пользу русской ориентации. Англичане бездействовали, покуда мы искали спасения в союзнической ориентации, и стали нам помогать, когда события доказали, что они сами могут ориентироваться на Россию.

Таков вообще принцип существующих международных отношений; всякий ориентируется на сильного, слабый окружен всеобщим равнодушием и презрением.

Помощь Англии досталась нам, когда мы уже стали сильны: ей предшествовал долгий период, когда в роли «интендантства» при добровольческой армии являлись большевики. Из чего же создалась та русская сила, которая сначала превратила красную армию в «интендантство», а потом завоевала России помощь англичан? Ее происхождение – одно из самых изумительных чудес, какие совершались в истории.

Перед нами несомненный случай творения из ничего. И в этом чуде выразилась великая победа духа. Судьба русской армии – ряд ярких свидетельств об этой победе. Когда в 1917 году она стала тылом без духа, распалась связь ее частей, она превратилась в ничто в несколько месяцев. Когда несколькими месяцами позже в горсти русских воинов возгорелся дух жизни, мертвое тело воскресло, русская военная мощь возродилась из ничтожества. Нужны ли другие доказательства того, что вера и горы передвигает!

Заключение.

На этом я заканчиваю воспоминания о моих скитаниях. Чувствуется, что главные наблюдения уже сделаны: ясен общий смысл виденного. Думаю, что дальнейшие события могут обогатить эти заметки многими новыми интересными подробностями, но едва ли внесут существенные изменения в выводы, здесь сделанные.

Теперь, после взятия Харькова и Царицына, освобождение России – вопрос времени. И тем не менее мы не можем смотреть вполне спокойно на будущее. Есть мучительные вопросы и сомнения, которые пока еще остаются без разрешения. Гибель большевизма еще не есть конец тяжкой болезни. Есть, к сожалению, много оснований опасаться, что ее исцеление вообще не будет полным. Большевизм – болезнь, во многом напоминающая бешенство. Бешеная собака не перестает быть опасной от того, что она умирает. Напротив, нет ничего страшнее укуса умирающего зверя. Для России эта опасность теперь величайшая из всех. На наших глазах бешеная собака издыхает. Но так или иначе, все мы ею укушены: все мы, борющиеся с большевизмом, в большей или меньшей степени испытываем на себе действие его яда.

Ходячее обвинение добровольцев в том, что они стали похожи на большевиков, – несправедливо лишь постольку, поскольку оно огульно. Не все, но к сожалению, весьма многие восприняли страшный образ звериный. Одни ли добровольцы? Междоусобная война вообще наложила печать на нравы. Не только на фронте, в тылу точно также совершается оргия грабежа. Воровство и взяточничество гражданских властей достигли того предела, какого они никогда не достигали, даже в худшие времена самодержавия. От людей, близко знакомых с гражданской администрацией добровольческой армии, приходится слышать, что теперь почти ни на кого нельзя положиться. Эпидемия воровства заразила почти всех, даже тех, кто доселе считались честнейшими.

А насколько при этом возросла жестокость, в этом каждый из нас может убедиться путем внутреннего самонаблюдения. Несомненно, что в будущем государственная необходимость предпишет весьма суровые меры для подавления большевизма. Но прежде русскому человеку несвойственно было радоваться жестоким казням. А теперь беспощадная расправа с большевиками стала мечтою всякого русского обывателя. И к сожалению, чувство мести тут говорит громче и сильнее, чем

сознание государственной необходимости. Потоки крови, которые прольются после восстановления порядка, без сомнения превысят меру. Будущие победители будут соперничать в жестокости с большевистскими чрезвычайками, а может быть, и превзойдут их.

Я часто спрашиваю себя, что будет в Москве в тот день, когда там где-нибудь на площади будут всенародно повешены такие корифеи большевизма, как Троцкий, Ленин, Петерс и другие. Многие ли откажутся от соблазна «посмотреть» на этот финал большевизма. Глазеть будут несомненно десятки, а может быть, и сотни тысяч народа. А ведь раньше подобные зрелища внушали у нас почти всеобщее отвращение. Негодование симулировали даже те, кто его на самом деле не чувствовал. Теперь другое: иногда приходится слышать о том, как взятых в плен комиссаров сначала «угощают шомполами», а потом вешают; но ставшее привычным безобразие почти ни в ком не вызывает ужаса и даже интереса.

«Публичность» казни раньше возмущала нас, когда она была восстановлена большевиками. А теперь пример их не только вызывает подражание, – он вошел у нас в обычай. В Кисловодске на видном месте, на холме над городом стоят две виселицы; мне показывали их маленькие дети и при этом называли лиц, которые видели повешенных; саму виселицу дети, смеясь, называли «качелями». Бывали случаи, когда особо видных большевиков умышленно долго держали на этих виселицах. Обыкновенно, такие меры оправдываются тем, что у большевиков нужно «учиться приемам твердой власти». Под этим предлогом большевики мало помалу становятся нашими учителями варварства и жестокости.

Самая опасная черта современности заключается в том, что кодекс междоусобной войны, привитый нам большевиками, стал обычным: его усвоили не только взрослые, но и дети. Расшатанность всех нравственных правил, разнузданное своеволие, привычки к хищению и жестокость – таково ядовитое наследие смутной эпохи, которое оставит свои следы в душ народной на многие годы. Черты большевистского типа сохранятся в русских администраторах, военных и общественных деятелях из черносотенцев, даже в то время, когда о большевиках в собственном смысле мы забудем и думать...

<……>

Кисловодск, 22 июня 1919 года.

ldn-knigi: Дальнейший текст в нашем экземпляре «Архива русской революции № 18» – примерно 1 1/2 страницы – частично зачеркнут и частично зачернен.

Как комментарий к этому зачеркиванию написано, что Евгений Николаевич Трубецкой мог такое написать только, если он уже был болен сыпным тифом (от которого он скончался несколько месяцев позже), чего, конечно, не могло быть. Далее в комментарии сказано, что зачеркнутое добавлено кем-то, непонятно с какой целью, и, что зачеркивание сделано чтобы сберечь добрую память о Е.Н. Трубецком для последующих читателей.

Сумев разобрать несколько строк, мы в чем-то согласились с написавшим… (ldn-knigi.)